

РАДИЙ ПОГОДИН • ТРЕНЬ-БРЕНЬ •



48 коп.

Р а д и й П о г о д и н

Трень-брень

О ж и д а н и е

Издательство „Детская литература“
Ленинград 1966

Р 2, ср.

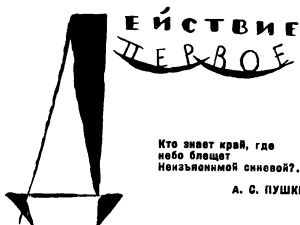
П 43

РИСУНКИ С. СПИЦЫНА



ИСТОРИЯ В ВОСЬМИ КАРТИНАХ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ,
НО БЕЗ НАЧАЛА
И
БЕЗ КОНЦА.

С действующими лицами читатель
познакомится в ходе повествования



ПРОЛОГ

Вышел шут с балалайкой. Улыбка у него такая, что глаз не видно.

— О благородные юные зрители, досточтимые пионеры, отважные защитники мелких животных и лесных насаждений, я приветствую вас!

Шут прижал палец к губам, прошептал по секрету — так, чтобы всем было слышно:

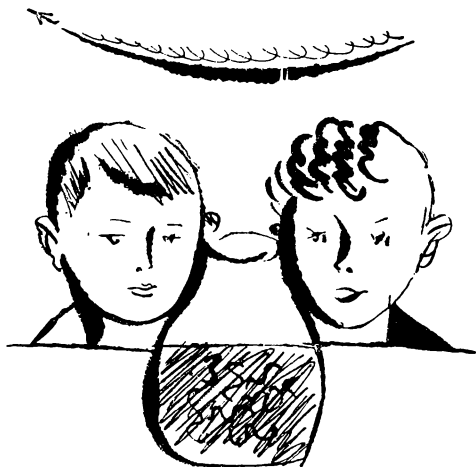
— В нашем городе появился Хам! Не видите? Напрягите зрение. Он идет величественный, как корабль. Равнодушный, как трамвай. Нынче воскресный день, теплый, без угрозы дождя. Нынче Хам не боится охрипнуть. Вы, кажется, не хотите про Хама. Вам нужно что-нибудь посмешнее? А над чем посмеяться — вам все равно.

Смотрите и слушайте!

Я расскажу историю, которая началась неизвестно когда и, наверно, не скоро закончится.

Трень - брень...

Только не торопитесь смеяться... Не торопитесь смеяться... Хр-хр-хр...



КАРТИНА ПЕРВАЯ

Утро было раннее, солнце нежаркое. Ветер нес к самолетным стоянкам осенние листья.

Самолеты решительно набирали скорость. Они красовались силой и, как молодые, удачливые спортсмены, уходили в самое поднебесье. Те, что шли на посадку, победно ревели и, наверное, гордились собой.

Двое мальчишек глядели в небо.

Летит самолет. Гудит самолет.
Его отважный ведет пилот.
Тучи, как скалы. Тучи, как пена.
В тучах засада. В тучах измена.
Сердце поэта, взреви, как мотор...

— Вскрыли и забейся... Забейся и взвейся. Нет...
Песня поэта, взреви, как мотор. Нет...

— Зачем же песне реветь? Ну, ты даешь. И сердцу
реветь незачем. Оно стучать должно.

— А я еще не могу сразу. Самое главное я всегда
дома придумываю.

Мальчишку, который сочинял стихи, звали Бобой.
Второго — Тимошей. Ростом они были одинаковые. От-
личались они друг от друга весом. Боба был как будто
пустотелый. Тимоша — как будто литой. И как ни кру-
тись, но именно эти качества больше всего отражаются
на характере.

Мимо мальчишек проходили прилетевшие пассажиры.
Южные пассажиры шли с цветами. От них пахло солн-
цем и морем. Северные пассажиры распахивали шубы
и полушубки. От них тянуло взопревшей кожей, уста-
лостью и табаком.

Пассажиры проносили мимо мальчишек свои раз-
говоры.

— Скажите, пожалуйста, где багаж выдают?

— Я все свое ношу с собой! Прилетел, слава богу.
В самолете слова сказать не с кем. У всех рожки пост-
ные, как у архангелов. А на земле... Эй ты, индюк!
Нахал! Петух в компоте!.. А на земле я любому слово
скажу. Земля — матушка...

— Вам куда?

— Ему в крематорий.

Вышел шут с балалайкой. Одежда на нем пилот-
ская — темно-синяя, с золотыми шевронами.

Трень-брень...

— Я пришел извиниться. Физики-атомщики, герои
великих строек, суровые юноши и прекрасные девушки
с геологическими наклонностями, а также морские вол-
ки, летчики-испытатели, десятиклассники, сомлевшие от
сомнений, сегодня не прилетели. Сегодня их рейсы про-
ходят мимо нашего с вами театра. Нынче театром вла-

дею я и, уж простите великодушно, созываю только таких людей, которые пригодятся мне для рассказа.

Еще раз прошу прощения.

Трень-брень...

— Простите, где багаж выдают? Мы подарим вам чайную розу.

— Не выношу чайные розы и уличные знакомства.

— Иван Селизарович, Иван Селизарович, вы меня неправильно поняли по телефону. Иван Селизарович, это была скромная шутка с моей стороны.

— Шути, голубчик, но шути осторожно. В основном, шути с подчиненными. У них чувство юмора есть осознанная необходимость.

— Простите, где багаж выдают?

— Да отвяжитесь вы, я вам не «Горсправка».

Пассажиры спешили к транспорту. Вежливые, терпеливые автобусы приседали от пятаков и двугривенных. Мордастые таксомоторы скликали попутчиков, чтобы в один конец да за двойные деньги.

Боба поднял с асфальта красный кленовый лист, плевал на него и приклепнул к столбу, крашенному в алюминий.

— Тимоша, скажи, что на свете самое красивое? Могу биться — не знаешь.

— Чего не знать. Что мне нравится, то и красивое.

— Ослам колючки нравятся.

— Не возникай. Насчет ослов в зуб дам.

— Дай в этот, он у меня молочный. — Боба оттянул пальцем нижнюю губу. — Юмор не понимаешь. — Он сплюнул и сообщил с таким видом, словно сделал подарок: — Самое красивое — ракеты, самолеты и автомобили. Скорость, помноженная на гармонию линий.

— Скорость, помноженная на что?

— На гармонию линий.

— На что?

Боба вздохнул грустно. Так грустно, чтобы всем стало совершенно понятно, как ему жалко товарища.

Самолеты громыхали, словно не слышали этого разговора. Словно им все равно было, хвалят их или ругают.

— Чего не понимаешь, тем не обладаешь, — сказал Боба.

Тимоша насупился.

— Ну, ты даешь; ну, я пошел. А то черви сдохнут. — Он поднес к глазам стеклянную трехлитровую банку с веревочной ручкой.

— Не сдохнут. Они живучие. Вчера ушли, а здесь самолет чуть не обвалился. Смотри, рыжая прилетела.

— Тише ты, может, она иностранка.

Мимо мальчишек прошла девчонка. Солнце запалило на ее голове рыжий осенний огонь. На девчонке была шуба из нерпы, ярко-красные брюки, темно-красный пушистый свитер. В одной руке — нерпичий портфель, и к нему привязана нерпичья шапка. Изогнувшись стручком, девчонка волокла тяжелый рюкзак.

В небольшом отдалении от мальчишек девчонка оставилась, постояла секунду, другую, покрутила головой, высматривая кого-то в толпе, и угрюмо уселась на свой мешок.

— Пассажиров, отлетающих рейсом триста вторым, Ленинград — Сочи, просят пройти на посадку, — объявила по радио девушка-диспетчер. И вдруг запела нежным домашним голосом: — «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...»

— Разиня, микрофон не выключила, — сказал Тимоша.

— Тайга под крылом ни о чем не поет. И не похожа тайга на море, — сказала девчонка.

— Извините, Аркадий Степанович, — объявила по радио девушка-диспетчер, хихикнула и выключила микрофон.

Боба сделал вокруг девчонки несколько ленивых безразличных шагов, уселся на корточки почти нос к носу, спросил вежливо:

— Скажите, пожалуйста, на что похожа тайга?

— Тайга на тайгу похожа. Море — на море. И тайга не зеленая, — ответила ему девчонка. — Отодвинься, чего ты мне в нос дышишь!

Боба отодвинулся. Лицо у него было постным и предупредительным, словно он находился в учительской.

— Я вас понял: тайга белая.

— Ты что, глупый?

— Ага, глупый дурак.

Девчонка улыбнулась, словно попросила прощения.

— Дурак, а вежливый. Тайга даже зимой не бывает белая. Тайга везде разная. В Архангельской области

тайга некрасивая. Вам такая не понравится. Она ржавая, в плешинах, в желтых пятнах. От болотного железа. Даже смотреть неприятно. За Уралом тайга бурая, в сиреневую переходит у горизонта. И везде тайга разноцветная. Зеленую тайгу, наверно, поэты придумали.

Тимоше очень понравилось это ее заявление.

— Крой их, — сказал он, — поэтов. Присаживай. Гармония линий, помноженная на скорость.

Девчонка вскинула брови. Глаза у нее большими стали и робкими.

— Это про что?

— Это, понимаешь, формула красоты. Боба вывел.

— Чего не понимаешь, тем не обладаешь, — сказал Боба. — Нынче радость — утром рано повстречались два барана.

Тимоша улыбнулся ему задушевно.

— Боба, не возникай. Скорость есть скорость. Линии есть линии. Они друг на друга не умножаются. А насчет баранов — напоминаю. — Тимоша показал Бобе кулак и уселся рядом с девчонкой на край тротуара.

— Это же не буквально, — сказал Боба.

Шофер такси, молодой человек расторопного вида, подошел к ребятишкам.

— Привет, кавалеры. До центра по рублику, дальше по счетчику. Спешите ехать?

— Нам на автобусе в самый раз, — ответил ему Тимоша.

— Пардон...

Когда шофер удалился, поигрывая ключиком от зажигания, Тимоша придвинулся поближе к девчонке.

— Мы за аэродромом червей копаем. Сейчас на червей спрос. Народ увлекается рыбной ловлей. Дороже всех репейник ценится, белый такой. Его, гада, найти трудно. Выползки хорошо идут. Мы выползков по ночам в парке ловим с фонариком. Светишь в траву...

Рыба в озерке.

Рыба в ведерке.

Глупая рыба,

холодная рыба, —

бесстрастно прочитал Боба.

Но сердце поэта не рыба.

Песня эта —

сердце поэта!

Девчонка быстро к нему повернулась:

— Вы поэт?

— Странный вопрос. — Боба пожал плечами.

Девчонка оживилась.

— У нас в классе один мальчик тоже сочинял стихи.

Я их не могу прочитать. Он их одной девочке посвятил. Хорошие стихи, про северное сияние.

— Тебе, наверное, посвятил? — спросил Тимоша.

Девчонка головой покачала.

— Мне еще никогда стихов не посвящали.

— Ну и чихать.

— Нет. Приятно все-таки.

Девчонка посмотрела на стеклянную банку с червями. Тимоша проследил ее взгляд, насупился.

— Ты не подумай чего. У нас цель. Нам мотор купить надо. Нам без мотора уже никак.

— А вы откуда такая? — вежливо спросил Боба.

— Какая?

— В мехах.

Тимоша объяснил шире:

— Как иностранка. Иностранцы на себя хоть черта напялят, хоть голышмя по городу бегать или в шубах в жару. Им никто слова не скажет. Даже завидно, до чего иностранцам у нас почтение.

Девчонка посмотрела на свою шубу.

— На мне ничего не напялено. Шубу мне отец сшил. Нерпу я сама настреляла.

У Тимоши глаза расширились и погасли медленно.

— Ну, ты даешь. Ну, я пошел. Боба, пойдем, а то черви сдохнут.

— Постоим, врать поучимся, — сказал Боба.

— Это почему я вру? Я никогда не вру. Это зачем: вы человека не знаете, а уже не хотите ему верить? Я из винтовки гуся бью влет. И оленя. . .

Тимоша угрюмо потянул Бобу за рукав:

— Пойдем, а то черви сдохнут.

Девчонка быстро повернулась к нему:

— А ты молчи со своими червями — Она расстегнула рюкзак, вытащила из него тяжелый моржовый бивень. Протерла его рукавом, чтобы блестел. — Я этого моржа сама завалила.

— Один на один, — вежливо улыбнулся Боба.

Девчонка кивнула.

— Ну, я его из винтовки.

— Моржа?.. — Унылый Тимоша поколебался немного. Поставил банку с червями на тротуар. Взял бивень. Пальцем поколупал. Понюхал даже.

— Годится...

— Это секач. Одинокий. Они очень злые, одинокие.

Боба улыбнулся еще вежливее. От него как бы медом пахнуло.

— Могу биться, — не из винтовки. Вы его из левольверта, жеваным мякишем.

— Это зачем ты не веришь? — отдельно, даже с испугом, сказала девчонка. Она отняла бивень, запихнула в рюкзак. — Пожалуйста, не верьте. Как мне проехать к метро?

— На автобусе, — сказал Тимоша. — На тридцать девятом.

— Если вы моржей бьете, на самолетах летаете, — возьмите такси до самого дома, — сказал Боба.

— Ну и возьму, — девчонка ухватила рюкзак, поволокла его к стоянке такси, крича на ходу:

— Такси, такси! Возьмите меня!

— Возьмите ее, — захохотал Боба. — Рыжая. Могу биться, — как рыжий, так врун обязательно. А ты разве-сил свои ослиные уши. Рыжая моржа убила — удивись на всю жизнь.

Тимоша не спеша рукава засучил. Боба сошел с тротуара.

— Ты что?

— Не возникай.

— Не надо, — попросил Боба. — Из-за какой-то рыжей поссорились. Да она не стоит... Лучше пойдем, а то черви уснут.

— Они уже уснули. — Тимоша взял Бобу за воротник.

— Торчим здесь на солнце, — прохрипел Боба. — Дохлых никто не купит.

— Купят. Мы в банку анисовых капель покапаем, они все на голову встанут, ежом растопырятся. — Тимоша поднял кулак.

— Только не очень сильно, — сказал Боба и опустил голову.

— За двух ослов и за двух баранов.

— За одного барана.

— За двух. Девчонку ты тоже бараном назвал.
Боба вырвался, возмущенный.
— Меня за рыжую бить? Товарища из-за какой-то там рыжей?

Если товарища бить из-за рыжей,
Значит, товарищ уже не товарищ — предатель!
В душе моей сразу получится грыжа,
Если меня из-за рыжей ударишь, предатель!
Пусть сердце поэта сковано льдом!

— Перестань.
— Не буду, — сказал Боба покорно. — Конечно, девчонку бараном назвать нельзя — это безграмотно.

Самолеты на взлетном поле нетерпеливо гудели, сотрясали воздух сотнями лошадиных сил, им были неинтересны мелкие ребячьи страсти.

Тимоша почесывал свой кулак, раздумывая, залепить Бобе леща или простить.

Автомобильный гудок загнал мальчишек на тротуар. Девчонка сидела на заднем сиденье серой «Волги» и махала шапкой.

— Эй! — сказала она. — Садитесь, поедem. А то у вас в самом деле черви уснут.

Боба поправил куртку и, как ни в чем не бывало, первым полез в машину.

— Садись, Тимсша, — сказал он. — Мы не гордые.

Автомобильный мотор мягко фыркнул. Осенние яркие листья ринулись под колеса, взлетели, кружась, позади машины и снова легли на асфальт.

Шумная толпа пассажиров заполнила площадь.

— Совершил посадку самолет сорок два — пятьсот пять. Рейс триста сорок, из Свердловска. Девочку Ольгу Смирнову просят зайти в отдел перевозок. Там ее ожидает бабушка. Повторяю: совершил посадку самолет сорок два — пятьсот пять. Рейс триста сорок, из Свердловска. Девочку Ольгу Смирнову просят пройти в отдел перевозок. Там ее ожидает бабушка, — объявил по радио мужской хриплый голос.



КАРТИНА ВТОРАЯ

В Ленинграде осень. Деревья украсили землю яркими листьями. Машины, которым велено убирать, жуют листья, дрожат от сытости, а листьев все больше. Листья все ярче.

Улица была тихая, и дома на ней разноцветные. Ольга тащила по улице свой мешок. Шуба у нее на-

распашку. Волосы растрепались. Мимо Ольги шагали прохожие. Первые и вторые улыбались ей. Третьи и четвертые не смотрели на нее, они в себя смотрели, в свои дела и заботы. Зато пятые-десятые хмыкали, хихикали, указывали на нее перстом.

— Ишь вырядилась.

— Ужас!

— И что люди собой воображают. С малого возраста из себя что-то корчат.

— Это же безобразие — девочка в такой модной шубе.

— А брюки! А волосы!

— Цаца!

Ольга думала вслух:

— Вы зачем на меня так смотрите? Вы зачем надо мной смеетесь? Я вам не нравлюсь? — И бормотала прохожим в спины: — Вместо того чтобы на меня глаза тарашить и смеяться попусту, поглядели бы вокруг себя. Вы видите осень? Собирайте охапки оранжевых листьев. Возьмите побольше. Разбросайте их по полу в тесных жилищах. Шагайте — пальто нараспашку. Ветер спрячет вам за пазуху последние запахи лета. Берите рыжие листья. Людям необходимы яркие краски. Зачем вы пинаете их ногами? Эй, эй! Это же солнечный цвет!

У парадной, как раз напротив Ольги, стояла другая девчонка. Может, постарше. Может, повыше. И, конечно, красивее. У нее были длинные черные волосы.

Девчонка кривила губы.

— Ты что, чокнутая? — сказала она. — Ты что разоряешься?

— Это я про себя. Я давно здесь не была. Меня еще совсем маленькую увезли отсюда. У меня сейчас столько слов вдруг — откуда берутся? Я вообще заметила: когда говоришь сама с собой, получается очень складно. Ты не замечала?

— Вот рыжая. Вот ненормальная. Чтобы я сама с собой разговаривала? Я прысну...

— Зачем ты меня называешь рыжей?

— Тоже мне. А какая же ты? Может, светло-каштановая? Сейчас все рыжие называют себя светло-каштановыми. Тоже мне — модный цвет. Даже учителя в рыжий цвет перекрашиваются. По-моему, цвет поганый.

Когда я смотрю на рыжих, у меня во рту кисло делается.

— Зачем ты? — сказала ей Ольга. — При чем тут мои волосы? Давай познакомимся сначала.

Девчонка дернула одним плечом, дернула другим плечом. Фыркнула, плюнула и растоптала.

— Тоже мне. Не смейся. Рыжая, так и помалкивай. Ольга подошла к ней ближе.

— Зачем ты все время говоришь: «Тоже мне, тоже мне?» Разве ты лучше всех разбираешься? Ты в самом деле думаешь, что ты лучше всех разбираешься?

Девчонка взвизгнула вдруг, словно ее ущипнули или она увидела мышь. Закричала:

— Отвяжись, психованная! — и ушла в подворотню.

Ольга растерянно оглянулась.

По улице шагал гражданин с портфелем. Он был высокий и пестрый, в костюме из синтетической ткани. Еще на нем были шляпа и макинтош. Макинтош этот переливался, менял окраску из серо-зеленой в синеватую и фиолетовую, как спинка жука-скарабея. Гражданин высоко держал голову, смотрел на всех окружающих пристально и снисходительно.

Поколебавшись немного, Ольга догнала его.

— Извините, пожалуйста.

— Ты меня, девочка? — спросил гражданин.

— Ага. Извините, пожалуйста, я всегда слышала, что в вашем городе очень вежливые люди. Я тоже родилась здесь и всегда гордилась, и всегда старалась...

Гражданин опустил голову, он как будто нацелился в Ольгино рыжее темя.

— К сожалению, вежливых осталось мало. Вежливые в войну вымерли.

— Шутите, — сказала Ольга.

— Шучу, — сказал гражданин. — Я часто шучу. Шутка — признак здоровья.

Ольга подумала и потом спросила со вздохом:

— Скажите, пожалуйста, мои волосы в самом деле такие противные?

— Это тебе очень важно? — спросил гражданин.

— Очень.

Гражданин откинул голову. Потрогал Ольгины волосы пальцами, сквозь перчатку.

— По-моему, в самый раз, — сказал он. — Элегантно.

Может быть, несколько смело. Вот эта прядка над виском вроде бы что-то не так. Если ее пригладить, то, в основном, я полагаю...

Ольга перебила его:

— Я про цвет.

Гражданин снова помедлил, помолчал, и покашлял, и еще дальше откинул голову.

— По-моему, довольно приятный серый цвет.

— Что вы, я рыжая, — прошептала Ольга.

— Рыжая? — гражданин торопливо погладил ее по голове. — Все равно. Извини, я дальтоник. Я не различаю краски.

— И вы никогда не видели рыжего цвета?

— Никогда.

— И вот эти листья вам кажутся серыми?

— Да... Они серые...

— И вам не страшно?

Гражданин изумился, обиделся даже.

— Страшно? Напротив. Мне лично кажется нелепым и нездоровым все видеть в различном цвете. Это, знаешь ли, раздражает. Я лично думаю, что все нервные заболевания у нас происходят от пестроты жизни. Да, да...

— И все люди вам кажутся серыми?

— А что тут такого странного?

— Я еще не умею сказать, что именно... Но если подняться вверх и глянуть на людей сверху, то покажется вдруг, что это не люди, а булыжная мостовая.

— Ты говоришь по-детски, — сказал дальтоник. — Запомни: люди — наше богатство. — И он пошел, подняв голову, с достоинством и спокойствием человека, выполнившего свой долг.

Ольга постояла немного, раздумывая, потом догнала его.

— Скажите, где дом шестнадцать?

— Дом шестнадцать? — гражданин оглядел весь порядок домов. — Видишь, вон тот, темно-серый. Там во дворе дом шестнадцать.

Разноцветные, разноэтажные дома стояли неровной шеренгой, словно необученные новобранцы. Все они были в большом уже возрасте.

Ольга головой покрутила. Развела руками.

— Темно-серый? Но на этой улице нет темно-серых

домов. Здесь все дома разноцветные. Я сразу заметила: это разноцветный город, только очень поблекший.

Дома от Ольгиных слов приосанились, повели плечами, гордо грудь выпятили.

Стояли дома очень тесно друг к другу, и, боясь, что полопается штукатурка, они проделали эти движения мысленно.

— Да, да, — повторила Ольга. — Это очень разноцветный город. Даже смешно, что кому-то он кажется серым.

Из подворотни снова вышла девчонка с черными волосами.

— Шубу напялила и дурочку корчит. Тоже мне... Вон красный дом, видишь? Заваливайся во двор, там дом шестнадцать. Недотепа рыжая. Периферия.



КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Ольга вошла во двор. Переступила границу солнца и будто вспыхнула.

Двор залит солнцем до самых крыш. Темная, почти черная подворотня в стене. Вечная тень осела на ее сводах сыростью. Двор вымощен камнем — брусчаткой, розовым и сиреневым. Камни хорошо прогреваются и тепло свое отдают с легкостью. Между ними свежая, как

в июне, трава. Каменная скамейка и каменная треснувшая ваза. В вазе красные астры.

Во дворе было пусто, тихо было. Воробьи добывали свой незаметный корм. Ослабевшие лепестки астр лежали на камнях красными каплями.

И вот в этой теплой тиши раздался вопль:

— Руки вверх! — С дерева, роняя листья и деревянные пистолеты, свалился четвероклассник Аркашка. — Р-руки вверх, говорю!

Ольга положила на скамейку портфель, прислонила к вазе рюкзак, подняла руки.

— Долго держать?

Аркашка обошел вокруг, ткнул Ольгу деревянным своим пистолетом.

— Не дрожи в локтях, — приказал он. — От страха дрожишь?

— Зачем от страха? Смешное ведь не бывает страшным.

Аркашка посмотрел на нее косо. Сказал:

— Обожди пока, не уходи. — Отвернулся, вытащил зеркальце и, глядя в него, скорчил совершенно свирепую рожу. — Ну, а теперь?

— Еще смешнее. — Ольга засмеялась, села на скамейку, — Ты умеешь ушами двигать? У нас в школе мальчишка был, сильно двигал. Еще он умел животом говорить.

Аркашка наставил на Ольгу все свои пистолеты.

— Встань! И не трать слова понапрасну. Они у тебя последние. Ты меня рассказами не разжалобишь. Р-руки вверх!

Ольга встала, чем привела Аркашку в некоторое замешательство.

— Ты слишком серьезно кричишь, — сказала она. — Это уже не смешно. Убери, пожалуйста, свои дурацкие пистолеты. Не тычь в лицо.

— Не испугалась, скажешь? Так... — Аркашка заткнул свои пистолеты за пояс. Выхватил из-за пазухи рогатку. — Руки вверх! Застрелю, не моргну.

Ольга взяла портфель.

— Осторожнее. Ты меня можешь случайно поранить. Где квартира четыре?

Аркашка отступил на шаг, натянул рогатку на всю длину.

— Молчать! Мне уже надоел твой голос. Вопросы задавать буду я. Пол?

— Что?

— Пол, говорю. Мужчина ты или женщина?

— Слушай, я тебя за уши оттаascaю.

— Проклятье, ты опять говоришь?

— Слушай, нельзя ли повежливее?

— Вежливость — язык трусов и подхалимов. Для людей действия вежливость — напрасная трата времени. Впрочем, эти знания тебе уже не сгодятся.

— Дай пройти.

— Отвечай, ты рыжая или перекрашенная?

— Что?

— Сегодня на рыжих облава.

Ольга села на скамейку, опустила руки устало.

— Предупреждаю: если назовешь меня рыжей, за уши оттаascaю.

— Не люблю рыжих.

— Мне твоя любовь не нужна. До любви ты и не дорос еще. Ты сначала научись хотя бы уважать человека.

— Я уважаю людей за дело. А с тобой не моргну — рассчитаюсь.

Ольга вытянула руки вперед.

— Согласна. Со мной уже давно пора рассчитаться. На, вяжи. Арестовывай.

Аркашка подошел вязать, и тут Ольга схватила его за ухо. Сделала она это мгновенно, словно муху поймала.

Воробьи на дереве заскакали с ветки на ветку. Парадные заушали. Водосточные трубы забормотали.

— Не тяни меня за уши! — вопил Аркашка, хлестал Ольгу резинкой рогаточной, бил по ногам.

— Извинись за рыжую, — потребовала Ольга.

Воробьи взлетели на самые верхние ветки, оттуда им было виднее.

— Рыжая швабра! — орал Аркашка. — Рыжая ведьма! Отпусти, говорю!

Ольга отобрала у него рогатку, ухватила за второе ухо и потрясла. В этот момент из парадной вышел шут (дядя Шура). Снял со стены дворницкий фартук с бляхой, надел на себя.

— Зачем безобразить? — сказал он. — Не можете как люди? Вам быстрее безобразить нужно.

Ольга выпустила Аркашкины уши. Они были красными и горячими, каждое — как отвислый собачий язык.

Шут поклонился Ольге.

— С приездом. Предвижу массу хлопот. — У Аркашки шут (дядя Шура) спросил: — Аркадий, у тебя ничего не болит?

— Ну так, рыжая... — уныло сказал Аркашка, пряча от шута то самое место, которым в детстве рассчитываются за глупость, лень и всяческие неудачи.

Шут взял Аркашку за ухо, отвел и посадил на камень в сторонке.

— Не дергайте за уши! — завопил Аркашка. — Мне еще играть сегодня. — Он прижал уши ладонями, покачал головой из стороны в сторону. Заскулил: — Уши, мои, уши.

Шут (дядя Шура) пошел к подворотне. Аркашка вскочил и тут же сел снова, потому что шут (дядя Шура) обернулся внезапно.

— А если мне неудобно, если я на чем-то колюем сижу?

— Терпи!

— Терпи, терпи! Если всякие рыжие станут меня за уши дергать...

Шут подмигнул Ольге, покопался в одном своем рукаве, но ничего не нашел там, кроме разноцветного серпантина. В другом рукаве шут обнаружил гирлянду бумажных салфеток. Из карманов повывернул кучу всего разноцветного, бумажного, для дела ненужного. Из-за пазухи вытащил белого голубя. И лишь откуда-то из-за ворот, вспотев от усилий, шут достал настоящий живой цветок. Белый. Он бросил Ольге этот цветок и пошел в подворотню.

— Дядя Шура, — сказал Аркашка, — а я знаю, куда вы идете.

— Ну так что?

— А фартук. В фартуке на свидания не ходят.

Дядя Шура сорвал с себя фартук, галстук поправил, пригладил волосы и исчез в подворотне.

Ольга нюхала цветок. Аркашка на нее смотрел недовольно. Воробьи на дереве совсем присмирели.

— Ненавижу цветы, — заявил Аркашка. — Они вянут. Ольга сказала ему:

— Деревянных пистолетов настрогал. В голове-то не густо чего-нибудь серьезное смастерить.

— Я знаю, где у меня настоящие пистолеты лежат. Когда понадобится, я не моргнув...

— Нет у тебя настоящего пистолета. Где квартира четыре?

— А там все равно никого. Бабушка тебя на аэродром встречать уехала.

— Откуда ты знаешь, что это я?

— Твоя бабушка все время хвастает: внучка прилетает, внучка прилетает. Ни разу не сказала, что внучка рыжая. Ты где на севере жила? На Новой Земле?

— Не скажу я тебе ничего.

— Ну и не говори. Я тоже не рыжий, я тоже на север подамся.

— Зачем ты такой злой, отвратительный тип? Зачем ты так ненавидишь рыжих?

— Ненавижу, и все. У меня свое мнение. Отдай рогатку.

Ольгин голос стал тихим и жалобным:

— У тебя глаза в разные стороны, я ведь тебя не дразню.

— Ну и что? Я практиковался глаза в разные стороны разводить, а мне книжкой по голове трахнули. Я временно косой, а ты навсегда рыжая.

Ольга вскочила, хотела схватить Аркашку за ухо, но он извернулся, подставил ей ножку — и она упала.

— Отгулялась, рыжая команда, — засмеялся Аркашка. — Я теперь наведу порядок. Я всех рыжих разоблачу.

Ольга поднялась с земли, отряхнулась. Аркашка на всякий случай отбежал к подворотне и угодил прямо в руки к пожилой, даже, можно сказать, старой дворничихе, которая в эту минуту надевала на себя дворничий фартук с блестящей номерной бляхой. Дворничиха крепко схватила Аркашку за ухо.

— Чтобы не дрался, не мешал людям жить.

Аркашка завопил:

— Пустите! Все хватают за уши. Не за что больше хватать, да?

— А вот я тебе метлой...

— Все равно не имсете права за уши дергать.

— А кто здесь набезобразил? Кто здесь мусору на-

кидал? — дворничиха шевельнула ногой разноцветные ленты.

— Я, что ли? — возмутился Аркашка. — Не видите — дяди-Шурины принадлежности. Все на меня сваливается. — Аркашка стал выворачивать свои карманы. Оттуда посыпались рогатки, увеличительные стекла, деревянные кинжалы, военные погоны, стреляные патроны и потускневшая медаль «За оборону Ленинграда», — по всей вероятности, бабкина.

Дворничиха поддала Аркашке рукой. Аркашка собрал свое боевое имущество и поплелся к парадной, зажав в кулаки красные, натасканные уши.

— Уши мои, уши, — стонал он. — Уши мои, несчастные уши.

Дворничиха взяла метлу от стены, смела разноцветный мусор в кучу.

— И сколько же люди носят при себе всякого лишнего. Если бы взять их да потрясти, да пылесосом почистить. Ох, и большая работа... — Дворничиха чихнула, принялась искать носовой платок по карманам, вытащила оттуда штук тридцать ключей, несколько мотков шерсти, очки — одни для чтения, другие для дали, — тряпочки всевозможные, лекарства разные, в пакетиках и в бутылочках. Дворничиха даже похудела на вид, когда все это вынула. Наконец она высморкалась и упрятала свои богатства обратно.

— Вот так, — сказала она. — Нельзя людей-то трясти, люди не любят, когда их трясут. Они свое барахло любят.

Старая дворничиха села на скамейку, посадила Ольгу рядом с собой.

— Вот мазурик, как больно толкает. Не думает.

— Я сама упала.

Дворничиха засмеялась, а когда отсмеялась, сказала:

— Нельзя мне смеяться — одышка. Ты меня не смеши... — и опять засмеялась. А когда отдышалась, сказала: — Я маленькая была, тоже всегда падала. Меня набьют мальчишки или еще обидят чем, я домой пришлапаю и говорю: «Упала». Вот была глупая, ну совсем дурочка.

Воробы с верхних веток опустились на нижние — им теперь не опасно было.

Аркашка высунулся из парадной. Крикнул:

— Рыжая, ты зачем к нам приехала? У нас своих рыжих хватает.

Ольга рванулась было, но старуха удержала ее:

— Наплюй. Маленькие собачонки почему злые?

К ним, бедняжкам, никто всерьез не относится.

— Какой он маленький? Дылда!

— Это он по росту большой, а по уму еще мелкий.

— Зачем он дразнит? Что я ему сделала?

— Наплюй. Он дразнит, а ты будто и не слышишь.

— Вам говорить просто — вас не дразнят. А меня все дразнят. Как увидят, так и пожалуйста: «На рыжих облава. Рыжая — бесстыжая». Даже когда я совсем крошечная была, и то не стеснялись. У меня уже никакого терпения нет. — Ольга шмыгнула носом сердито. — Я, наверно, кого-нибудь убью. Схвачу кирпичину и кокну по голове.

— Господи помилуй. — Дворничиха засмеялась. — Прыткая какая. Ты думаешь, они ждать станут, пока ты кирпичину схватишь? Они первые схватят да тебя и кокнут. Ты лучше словом. Он тебя: «Рыжая». А ты ему, к примеру: «Сам дурак». Поняла?

Ольга прочертила пальцем тропинку на щеке для слез. Но слез не было. Ольга плакала редко, хотя ей очень хотелось иной раз поплакать.

— Что вы, — сказала она. — Я не умею. У меня внутри все сжимается, и становится стыдно. Мальчишку дураком обозвать и то неудобно, а взрослого человека... Да что вы!

— А ты взрослого не обзывай. Ты поинтересуйся — умный он или нет. Он сам поймет, что ты имеешь в виду.

— Не могу... Какой-нибудь пьяный идет по улице, ругается, теряет свою совесть на каждом шагу, — с ним нянчатся, пульс щупают. Жалеют. Тьфу... А меня увидят — сразу лицо как двустволка и палят: «Рыжая!» Шоферы на машине остановятся, скажут: «Рыжая» — и дальше поедут. Даже когда похвалить хотят или приласкать, так не говорят «молодец», или «хорошая», или «милая». Только: «Рыженькая, подосиновичек, рыжик, рябинка». Я надеялась, что здесь люди культурные. В таком городе разве можно?

Старуха пошевелила Ольгины волосы.

— А что, город как город, как другие города. Одышка у меня от большого сердца.

— Я понимаю, от ответа уходите.

— Да куда же я уйду? Вот я. Тут.

Аркашка высунулся из лестничного окна, прицелился в Ольгу зеркальцем. Солнечный зайчик вспыхнул в Ольгиных волосах, сполз ей на покрасневшую щеку.

— Я иногда все думаю, думаю. Кошки обижают воробьев, собаки обижают кошек. Это понятно. У них борьба видов — выживает сильнейший. Звери, что с них взять! Дальше думаю. Мальчишки обижают собак, кошкам крутят хвосты, пинают ногами. Зачем? С воробьями мальчишки поступают совсем подло — бросают в них корки и норовят попасть в голову. И воробьи никак не могут разобраться, кормят их или убивают. Я спросила у нашей учительницы, откуда такое берется? Она мне говорит: «Думай о чем-нибудь другом. Разве тебе не о чем думать? Думай, например, о будущем. Зачем ты живешь? Кем ты хочешь быть?» Я ей сказала, что я и думаю как раз о своем будущем. Были бы вы рыжая, тоже бы так думали.

Солнечный зайчик обжег Ольгин глаз. Ольга вскочила, подняла кулаки. Дворничиха посадила ее обратно.

— Наплюй.

Аркашкино зеркало снова залепило Ольгин глаз солнцем. Ольга прикрыла лицо руками.

— Может быть, этот Аркашка в тебя влюбился, — осторожно сказала старуха. — У нас ни единой девчонки во дворе нет.

Воробьи чирикнули все разом, словно сто смычков упали на струны.

— В меня не влюбятся. Я рыжая.

Солнечный зайчик резвился на Ольгиной голове.

— Ишь дурью мается, — вздохнула старая дворничиха. — Бабка его занячила. Маша, моя подруга. Она ему даже игрушек не покупала обыкновенных. Погремушек, грызушек — ни в коем случае. Все со значением, все викторины.

Аркашка захукал по-обезьяньи, заикал по-ослиному. Выстрелил в Ольгу из тонкой резинки бумажной пулей.

Старая дворничиха взяла Ольгу за руку.

— Наплюй. Он как улизнет из дома, сразу начинает по-ослиному кричать, с пистолетами бегать. Я иногда

пугаюсь, думаю: прости господи, вот и свихнулся мальчик. Но он крепкий. Ему от бабки нервы крепкие перешли.

— Рыжая! — заорал Аркашка. — Рыжая!

Дворничиха сорвалась с места, побежала к парадной. Она держала метлу, как копье.

— Я же тебя, гений гнилой! Я тебе покажу рыжую!

Аркашка вывалил длинный язык:

— Рыжая кошка!

Ольга подняла из-под ног обломок вазы. Запустила им в Аркашку. Но он соскочил с подоконника. Звякнуло стекло. Осколки посыпались на брусчатку, вспыхнули на ней пронзительно.

Аркашка захохотал.

Дворничиха с укором посмотрела на Ольгу.

— Я ж тебе говорила — наплюй.

На чердаке паук муху поймал в тенета. Кот на крыше поскользнулся: хотел воробья схватить. В водосточную трубу провалился. Прочистил ее сверху донизу, вылез бурый от ржавчины, заорал благим матом.

Дворничиха попробовала поднять Ольгин рюкзак, да не смогла.

— Как же ты с такой тяжестью управляешься?

Ольга взяла портфель, ухватила мешок за ляжку, и они поволокли его вместе с дворничихой к парадной.

— И наплюй, — сказала дворничиха. — Наплюй, и все тут.

Двор опустел...

Ухнула подворотня, эхо поднялось по водосточным трубам, запуталось на чердаке в бельевых веревках.

Во двор из окна лестничного прыгнул Аркашка.

— Рыжая! — заорал он.

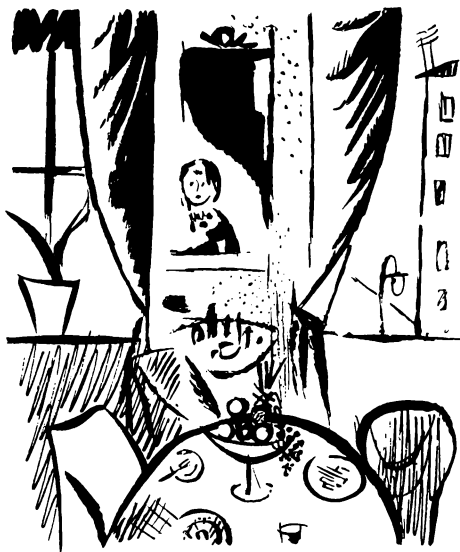
И когда его голос смешался с уличным шумом, став незаметным звуком в общем грохоте улицы, на сцену вышел шут (дядя Шура). Он давно стоял где-то сбоку. Был он в обыкновенном костюме, какой все мужчины носят, в брюках и в пиджаке, и галстук на нем темнокрасный.

Шут поиграл на своей балалайке. Что-то грустное поиграл, словно холодным ветром по осеннему лесу. Потом позвал:

— Аркадий, поди-ка сюда.

Аркашка приблизился к нему с опаской.

- Ну, чего?
- Ты отличник?
- Отличник.
- Изложи свое отношение к рыжим.
- Я же вам излагал, — пробурчал Аркашка, прикрыв уже упомянутое место ладонями.
- Изложи публике.
- Дядя Шура, бабушка считает, что в нашем доме спокойнее, когда вы на работе, особенно когда на гастролях.
- Передай ей привет. Излагай, публика ждет. Как ты относишься к рыжим?
- Дядя Шура, бабушка говорит — хорошо бы вам ожениться. Вы, наверно, питаетесь всухомятку.
- Передай ей спасибо. Что ж ты, не излагаешь?
- Аркашка засопел всеми дыхательными отверстиями, потупился, втянул голову в плечи.
- Дядя Шура, я знаю, куда вы ходите. Она крючками торгуется.
- Что?!
- Я случайно узнал, дядя Шура.
- А ну, марш домой! Иди играй на рояле!
- Трень-брень.
- Шут струны подергал невесело, поиграл маленечко для себя. Потом голову поднял и заговорил:
- Я хочу извиниться. Может быть, некоторые особо высокочтимые зрители усомнятся в моем рассказе. Скажут: какой от него прок, какое он имеет значение? Скажут, мол, рыжая девочка — частный случай. И почему рыжая? Разве мало у нас блондинов, брюнетов, шатенов и прочих?.. Много. Они тверды и проворны... — Шут легонько провел по струнам. — Я извиняюсь. Нам придется продолжить о рыжей девочке, хотя, конечно, это есть частный случай.
- Трень-брень.



КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Дворничиха отомкнула дверь бабушкиной квартиры. Ввела Ольгу в комнату.

— Тут твоей бабки дом. Сиди в уюте, дожидайся ее.

— Спасибо. — Ольга села на стул у дверей, рюкзак положила к ногам.

— Клаше скажешь, что это я тебя запустила, Даша.

Для твоего возраста — тетя Даша. Ну, сиди... Экая закусочка возбуждающая! — дворничиха оглядела стол, уставленный едой, отщипнула виноградину и ушла.

Комната у бабушки мало сказать замечательная — чудесная комната. Солнце в ней — как в аквариуме. Воздух свежий, тополем пахнет. Слышно, как воробьи на дворе пищат, как на соседней улице трамвай ходит. Слышно, как этажом ниже шипят оладьи на сковородке.

Ольга встала осторожно, сняла шубу и положила ее рядом со стулом на пол. Стул в крахмальном халате. Он похож на больничную строгую няню.

Ольга прошлась по комнате — руки за спину, чтобы случайно не задеть чего, не нарушить порядка.

— Ой как, — сказала она. — Не то что у нас. Будто собрались важные господа и все друг на друга не смотрят. Наверное, каждый считает себя красивее другого. Господа, помиритесь. Вы все ужасно красивые. Господин стол, можно вас потрогать немножко? Спасибо. — Ольга провела по столешнице пальцем. — Стол завизжал.

— У вас неприятный голос, господин стол, — сказала Ольга. — Вы недотрога. — Она отошла от стола к дивану.

— Доброе утро, господин диван. Как вы спали? Во сне вам, наверное, снятся окорока. Нет, нет, не свиные... Вы хотите, чтобы я попробовала, какой вы упругий? — Ольга тихонько села. Покачалась. Диван издал вздох. — Не любите, — сказала Ольга и сделала стойку на голове.

— А бабушка плачет, — услышался голос от двери.

Ольга упала на пол от неожиданности. В дверях стояла бабушка и в самом деле плакала.

В голубом платье, в синей шерстяной кофте она наминала волну с седым гребнем. В руках бабушка держала сумку и пластмассовый обруч.

— А бабушка плачет, — повторила она сквозь слезы, вытерла глаза уголком косынки и присела на краешек стула. — Бабушка весь Аэрофлот обегала — куда внучка делась? Бабушка руки ломала. Даже по радио розыск объявляли.

— А я здесь, — сказала Ольга. — Можно, я тебя поцелую?

Бабушка принялась обнимать Ольгу:

— Внученька, красное солнышко. Как ты там без бабушки жила? Ласочка моя. Девочка... — Потом бабушка сказала совсем другим голосом: — Наказывала я своей дочке, предупреждала: не выходи замуж за этого... — Бабушка потрогала Ольгины волосы, вздохнула. — И волосики у тебя вроде потемнее были. Надо же, девчонку крохотную, сосунка невидящего утащить куда Макар телят не гонял, где не то что люди — дерево стоящее не приживается. Говорила я своей дочке, предупреждала... Я ж тебя, внученька, больше десяти лет не видела. — Бабушка снова пустилась обнимать Ольгу, целовать и разглядывать. — Выросла-то! А изменилась! Мимо бы прошла, не узнала. А твои родители без мозгов, мазурики. Девчонку одну в самолете направили. А кабы самолет-то разбился?

Ольга не удержалась, прыснула в кулак.

— Смеешься? Вся в своего батьку. Нахалка. Смейся, смейся над бабушкой!

Ольга посерьезнела, задумалась.

— За что ты так не любишь отца?

— А за то, что он... курам на смех. И что в нем моя дочка нашла? Ни кожи, ни рожи. Ведь с ним по улице пройти совестно. Тьфу, какой рыжий.

— Бабушка...

— Я ж ведь не про тебя говорю. Ты, девочка, не виноватая. А он мужик. Тьфу. И надо же, уродился.

Ольга отщипнула виноградину. Бабушка спохватилась — принялась хлопотать вокруг внучки:

— Ты голодная, Оленька. Ты ешь, кушай. Попробуй-ка... Или этого. Ветчина свежая. С жиром-то не бери. С жиром пускай гости едят. Ты постненького, повкуснее.

— Я подожду, — сказала ей Ольга. — Я в Архангельске завтракала.

— Я тебе конфеток дам. Винограду поешь... На вот, я тебе подарок купила — хупалку. Сейчас все ее крутят. Как мартышки, виляют задом. Смотреть тошно.

Ольга взяла обруч. Сказала: «Спасибо» — и медленно пустила его вокруг талии.

Бабушка разложила на столе конфеты, которые вытаскила из сумки, печенье и села к столу, примеряясь, как будет беседовать с гостями.

— Убери вазу на телевизор.

— Зачем? Красиво же.

— Убери, она мне будет гостей заслонять.

Ольга взяла вазу, понесла ее к окну. Поставила на телевизор.

За окном кто-то заиграл на рояле, громко, с наскоком, словно рояль — враг и чем яростнее по нему лупить, тем скорее он испустит дух. За этим последовала пауза, раздался Аркашкин истошный вопль:

— А что ты меня за ухо?! — И снова загудел рояль, но уже ровнее, хотя по-прежнему в звуках его слышались недовольство и жалоба.

— Аркадия усадили, — сказала бабушка. Быстро все поправила на столе: тарелки, вилки, рюмки. Смахнула несуществующую пыль с вещей. Довольно оглядела комнату. — Сейчас Маша придет. Ты с ней о чем-нибудь научном поговори.

В коридоре звякнул звонок и залился долгим рассыпчатым звоном. Бабушка бросилась открывать. Из коридора послышался ее голос:

— Заходи, подруга.

— Захожу, подруга, захожу. Расстроилась я, — ответил ей другой голос, напористый и горячий. Каждый день приступ. У меня от расстройства печень распухла.

Ольга вертанула обруч вокруг талии. Опустила его, вертящийся, на колени и опять подняла на талию.

В комнату вошли бабушка и высокая седая старуха.

— Аркадий не по годам развивается. Я чуть в обморок не упала. Приходит и заявляет: «Бабушка, я чувствую, мне влюбиться пора».

Ольга перестала крутить обруч, поймала его рукой.

— Рано ему, — подтвердила бабушка. — А ты ему что?

— Я его за ухо — и за рояль. Я ему строго. Про любовь пусть спрашивает, когда делу выучится. — Старуха Маша, даже не глянув на Ольгу, прошла к окну, высунула голову и закричала: — Нюансы! Где нюансы? Нюансы давай!

За окном снова заиграли. Старуха вернулась к столу. Уставилась на Ольгу.

— Ребятишки сейчас в развитие пошли. До чего головастые, до чего рослые, — сказала Ольгина бабушка.

— Особенно мой Аркадий. — Старуха Маша подошла

к Ольге, пошлепала ее по щеке. — Подосиновичек. Морковочка. Ну, какая славная. Первый раз вижу, чтобы рыженькая — и такая славная. Даже веснушек нету.

Ольга сердито пустила обруч, подняла его, крутящийся на грудь.

— В отца? — спросила старуха Маша.

Ольгина бабушка тяжело вздохнула:

— А то в кого же. Я дочке своей говорила, предупреждала...

— И вовсе я не в отца, — сказала Ольга. — У него цвет совсем другой. У него желтый оттенок, а у меня красный. Я сама в себя.

— В себя не бывает, — резонно заметила старуха Маша. — Все на кого-нибудь похожие. Значит, у вас в роду кто-то красный был. Цвет до седьмого колена передается.

— В моем роду красных не было, — заявила бабушка.

Старуха Маша принялась бесцеремонно разглядывать Ольгу.

— Перестань крутить хупалку, когда на тебя взрослые смотрят. Несерьезная вещь. Я своему Аркадию не разрешаю.

— Это почему же несерьезная? — спросила Ольгина бабушка уязвленно. — Я ее в магазине купила. От нее талия развивается. Она гибкость дает.

— Ни к чему с таких лет талию развивать. Она у тебя еще не влюбляется? Ну вот, разовьет талию и влюбится. Прямо хватай за рыжие космы и сажай дело делать, без разговоров. — Старуха Маша бросилась к окну и закричала на весь двор: — Пьяно! Там пьяно написано! Пьяно играй! — Послушала и добавила грозно: — Я из тебя дурацкие интересы повытрясу.

За окном заиграли тише.

— Ты, Маша, садись, — предложила Ольгина бабушка.

Маша села к столу, осмотрела закуски и, вдруг повернувшись к Ольге, сказала:

— В кого же она такая? Она мне кого-то напоминает.

Ольгина бабушка подвинула подруге тарелку с пирогами.

— Ты, Маша, успокойся. Пирог кушай.

Старуха взяла кусок пирога и положила его обратно.

— Перестань кружить свою хупалку... Слушай, Клаша, а почему она у тебя в волосатом свитере ходит?

— В свитере удобно, — ответила Ольга. — И красиво.

Старуху Машу этот ответ не устроил. Она проворчала:

— Красота хороша с хлебом, хлеб — с маслом, а девочка должна ходить в платье, как мы ходили. А то обтянутся, как неприкрытые обезьяны. Ну, насчет брюк я сейчас не возражаю. — Старуха Маша наклонилась к Ольгиной бабушке и что-то долго шептала ей на ухо. Обе согласно и скорбно кивали головами, вздыхали и бормотали: — «Да, да. Боже мой. Это ужас...» Потом, когда они нашептались, Маша откинула голову и сказала задумчиво: — Так что, подруга, против брюк я не возражаю. А вот всякие свитера...

Ольга перестала крутить обруч; он упал на пол, очертил Ольгу ярким оранжевым кругом.

— Мой папа говорит, что всякий культурный человек должен прежде всего уважать чужие вкусы. А свитер мне мама вязала.

Маша снова взяла кусок пирога и опять положила его на блюдо.

— Смотри, как со взрослыми разговаривает. Ты по-такой ее вкусам, она тебе еще не то скажет.

Бабушка мигнула Ольге и рукой махнула, чтобы Ольга не спорила.

— Маша, ты пирога попробуй.

— Отбери у них внучку. А то тебе жить не для чего, только пыль с сундуков стирать. Отбери, я тебе ее воспитывать помогу, чтобы никакой пошлости. — Маша что-то хотела добавить, но снова взорвалась: — Акценты! Где у тебя акценты? Ты о чем думаешь? Переиграй.

Пока Маша кричала на своего Аркашку, в коридоре снова раздался звонок. Бабушка открыла и вернулась в комнату с новой гостьей — дворничихой тетей Дашей.

— А ну-ка, скажи, что ты там думаешь? — требовала старуха Маша в окно.

— Он думает, когда же ты перестанешь кричать, — сказала ей дворничиха. — И все жильцы в доме об этом думают.

Маша обернулась.

— Брось. Бабушки не кричат — воспитывают, — проворчала она и снова высунулась в окно: — В этом месте легата! Ты, что, не видишь легату? Ты мне перестань о постороннем мечтать!

Дворничиха улынулась Ольге, кивнула на распаленную Машу:

— Ее батька тележного скрипа боялся. Ей самой слон на ухо наступил. В молодости ей даже на демонстрациях петь запрещали. А теперь, смотри-ка, слова какие употребляет — легата, нюансы.

— Кто запрещал-то? — обернулась старуха Маша. — Я вас всех забивала в голосе. — Она запела на несусветный мотив: — «Наш паровоз летит вперед...» Вашего чирканья со мной рядом и не слышно было. Потому и запрещали. Из зависти. Кто лучше всех речи произносил? Как выйду, бывало, как грохну: «Товарищи! Мировая буржуазия хочет задушить нашу пролетарскую индивидуальность, навязать нам свою ханжескую, насквозь прогнившую мораль. Долой мещанские предрасудки!» Пальцы мягче! — закричала она в окно.

Ольгина бабушка смеялась, прикрыв рот ладонью. Дворничиха даже колыхалась от смеха. А когда отдышалась, сказала:

— Нюансы. Когда ее дочка в ожидании ходила, Маша всю квартиру портретами завесила в рамках. С одной стены Лев Толстой, с другой стены Пушкин, с третьей Чайковский, с четвертой Бетховен. Дочка-то мол, на гениев наглядится и родит ей гения тоже. Разевай рот. Слышь, Маша, так бы все гениев нарожали Маша отошла от окна.

— Компрометируй меня, компрометируй. Они уже и так никого не уважают. Упарилась, сердце так и колотится. — Старуха Маша опустила было на свой стул, но, глянув еще раз на Ольгу, вскочила. Шлепнула себя по бокам. — Клава, у нас в деревне рыжая Марфа была. Помнишь?

— Не помню, — сказала бабушка. — Садись, Маша, пироги кушай.

Маша уселась наконец, положила себе на тарелку винегрет, налила себе шампанского в стакан.

— Люблю шампанское и винегрет. Ты с нас пример не бери, — сказала она Ольге. — Мы старухи, мы и выпить можем.

Дворничиха подтолкнула Ольгу.

— А ну, закрути. На поджилках умеешь?

Ольга подняла обруч. Пустила его вокруг шеи, просунула в него, крутящийся, руки. Крутит на груди, на талии, на коленках.

Маша выпила и навалилась на бабушку.

— Как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? Ее ведьмой считали по предрассудку. У нее дурной глаз был.

Бабушка печально потрясла головой.

— Не помню. Кушайте пироги.

— Дай-ка я покручу, — попросила Ольгу дворничиха. Встала, пустила обруч вокруг талии и захохотала. — Вот бес — щекотно.

— Ты не от инфаркта умрешь — от хохота, — недовольно проворчала старуха Маша. — Возраста своего не уважаешь.

— Чего мне его уважать?

Ольга подставила дворничихе стул.

— Вот кто мой возраст пускай уважает — дети. Я со своим возрастом только мирюсь. Приходится, ничего не поделаешь. А ну, закрути.

Ольга подняла обруч, запустила его так быстро, словно она сама шпулька и на нее нитка наматывается.

Старуха Маша поморщилась.

— Перестань крутить хупалку, у меня от нее в голове мелькает. Рыжая Марфа такая же упрямая была, поперечная. — Маша опять повернулась к бабушке. — Ну, вспомнила? Мар-фа ры-жа-ая.

— Ольга, садись. Ешь пироги, — приказала бабушка. Ольга потрясла головой.

— Не хочу. Я в Архангельске ела.

— Сейчас дети закормленные, — словно извиняясь за внуку, сказала бабушка. — Даже вкусенького не хотят.

— Закормленные. Особенно мой Аркадий, — кивнула старуха Маша. — Как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? На высоких каблуках все еще фасонишь, а памяти нет, — рассердилась она. — Ну, Марфа, неужели не помнишь? Она за поскотиной жила. На отрубе. У реки.

— Не помню Марфу! — Бабушка тоже начала сердиться. — А каблуки к этому не касаются. Чем выше каблук, тем выше у женщины настроение.

— Не воображай. Ты всегда воображала — старые песни на новый лад перекраивала. — Маша махнула на бабушку рукой, повернулась к старухе Даше. — Я говорю, у нас в деревне рыжая Марфа жила. Я соображаю: на кого девчонка похожа? На рыжую Марфу похожа. Такой же зловредный цвет. И угораздило же такой родиться. Бедняжка. Старуха Маша погладила Ольгу по голове. Поцеловала.

Ольга съежилась.

— Рыжая Марфа несчастная. Она, знаешь, померла от мороза. Закоченела. У нее изба сгорела до угольков. Ей ночевать негде было, и никто ее к себе не пустил. Все за скотину боялись. Марфа своими бесстыжими глазами на скотину хворь наводила. Темный народ был. Так и замерзла. Нашли ее утром на паперти. Лежит, снегом засыпанная, только рыжие волосы на снегу горят.

Ольга еще больше съежилась.

Маша сорвалась с места, побежала к окну.

— Ты что перестал? Играй вальс из Ляховицкой. Ляховицкая на шкафу! — закричала она.

Старуха Даша обняла Ольгу.

— Не обращай внимания. Маша старуха добрая. Чуткости у нее маловато, а доброта есть. Последним поделится.

— Неужели добротой можно оправдать глупость? — спросила Ольга.

Бабушка кинула на нее растерянный взгляд.

— Помолчи, не тебе судить Машу. Не доросла. Кушай вот вкусненькое.

— Я ее не сужу. Я ее просто боюсь.

— Нашел? — крикнула Маша в окно. — Медленно играй, не скачи по клавишам, как козел по грядкам. — Она вернулась к столу, села грузно и снова принялась терзать бабушку:

— Ну, как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? Такой цвет и в гробу вспомнить можно.

— Я твоему Аркашке за этот самый цвет уши нарывала, — сказала старая дворничиха.

— То-то он сегодня фальшивит. — Маша откусила пирога. — У тебя своих нет, потому и хохочешь.

— Ага. Я своих в войну похоронила.

— Легко тебе живется, — старуха Маша сказала это

по инерции, потом спохватилась и добавила: — Я бы на твоём месте икала от горя.

Дворничиха поперхнулась, пробормотала с натугой: — Ну, беда.

Маша ещё пирога откусила. Причмокнула.

— Вкусный пирог. Ты, Клаша, всегда была мастерица пироги печь... Марфину избу Аграфена-солдатка спалила из ревности. Ну, как же ты, Клаша, не помнишь рыжую Марфу? Марфа же тебе родственницей приходилась. Ну, ну... Вспомнила? Ры-жа-я. Её ребятишек в деревне пугали.

— Не было у меня рыжих родственников, — сказала бабушка.

— Как же не было, когда я знаю, что были. Рыжая Марфа твоя родственница.

За окном заиграли вальс, медленный и торжественный. И все вокруг подтянулось: кресла у стен словно щелкнули каблучками, кот в подвале перестал мыша ловить, принялся вылизывать грязь с боков.

— Не этот! — вскочила старуха Маша. — Я тебе велела не этот играть. Другой! — Она хрипло и фальшиво запела: — Ум-па-па, ум-па. Ля-ля-ля-ля, тру-ля-ля... По-нял?

За окном заиграли другой вальс.

— Когда хочешь, тогда можешь, — сказала старуха Маша.

Ольгина бабушка упрекнула ее:

— И вообще, Маша, не чуткая ты. При рыжем нельзя о рыжем разговаривать. Это нетактично. Своего Аркашку на рояле учишь, а у самой тактичности нет. Даже когда в трамвае один рыжий сидит и вошел второй, он никогда с ним рядом не сядет.

— Это ихнее дело, — заявила Маша. — Господь с нами, я их не осуждаю. А Ольга — она же своя. Она на меня не обидится. Морковочка. — Старуха поцеловала Ольгу и объяснила: — Я твою бабушку о Марфе спрашиваю, чтобы она биографию вспомнила. — Маша повернулась к бабушке. — От родственников отказывается. Какая безродная. Может быть, тебя в капусте нашли? Мне мораль читаешь, а сама от своих отрещиваешься. Я вот от родственников не откажусь. Будь он хоть вором. Я его заклею, в лицо ему плюну, а отказаться — не откажусь.

— Не было у меня рыжих родственников, — с угрозой в голосе сказала бабушка.

Дворничиха прошептала Ольге:

— Не обращай внимания. Они, сколько я их помню, все время спорят.

— Если еще хоть слово про рыжую Марфу, я улечу обратно на Север, — прошептала Ольга.

— Что ты, милая.

За окном печально и ломко затренькала балалайка.

— Шурик страдает, — сказала Клаша.

— Любовь, — улыбнулась Даша.

— Непутевый — везде непутевый. Даже продавщица — тьфу! — и та на него не смотрит. — Старуха Маша пожевала пирог, возмущенно сверкнула на бабушку глазами. — А я говорю, рыжая Марфа твоя родственница. Она кривого Матвея дочка. А кривой Матвей и твой дед — братья двоюродные.

— А я говорю, не было у меня рыжих родственников. Матвей был каштановый.

— Нет, рыжий.

— А я говорю — каштановый. Не было у меня рыжих родственников и не будет.

Ольга вскочила из-за стола. Стул в накрахмаленном белом халате упал. Ольга спросила тихо:

— А я?

— Что ты? Ты сиди, ешь пирог.

— А я разве тебе не родственница? — крикнула Ольга, оттолкнула ногой упавший стул и выбежала из комнаты. Громко хлопнула лестничная дверь. Звонок над ней звякнул от неожиданности. Умолкла балалайка. Аркашкин вальс гроыхнул нелепым аккордом и затих.

— Ишь ты, — сказала старуха Маша. — Вся в рыжую Марфу. У тебя, Клаша, еще деверь был рыжий, Варфоломей.

— Не было деверя! — тихо и угрожающе прошептала бабушка.

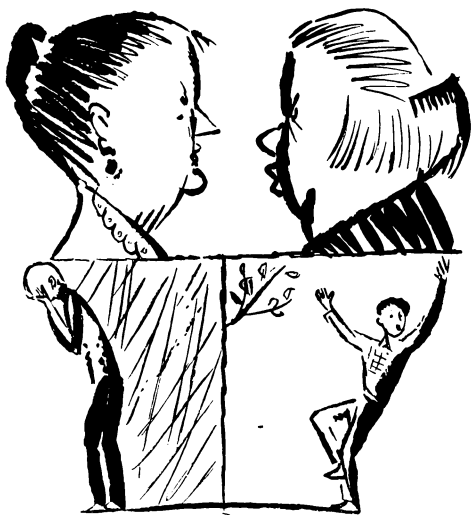
— Как же не было?

— Не было!

— Был!

Старая дворничиха взяла в зубы нож. Зарычала. И Маша, и Клаша примолкли в испуге. И Маша, и Клаша спросили:

— Что с тобой, Даша? Ты никак спятила?



КАРТИНА ПЯТАЯ

На дворе опавшие листья. Их намело с улицы. Они колышутся и тоненько звенят. Ветер обшаривает углы и подвалы, торопит засыпающие деревья.

Воробьи снова завладели двором, скандалят и скачут.

Ольга выбежала из парадной. Воробьи разлетелись, как брызги. Со второго этажа во двор спрыгнул Аркаш-

ка, схватил Ольгу за руку и потащил ее за каменный цоколь вазы.

— Прячься, бабушки мчатся!

Ольга сжалась в комок. Аркашка развалился на скамейке, задрал ногу на ногу и принялся спокойно свистеть песни.

Старухи высыпали из парадной — Маша за Клашей, Даша за Машей.

— И не отказывайся. Твой деверь Варфоломей был форменный рыжий.

— Нет, каштановый... Ольга! — позвала бабушка. — Ольга!

— Форменный рыжий. Его так и дразнили: Красный Варфоломей. Его кулаки вилами закололи, когда он по продразверстке ходил.

— Каштановый!

— Рыжий!

Дворничиха схватила метлу. Крикнула:

— Хватит!

— А я говорю — рыжий.

— А я говорю — каштановый.

— А я говорю — хватит!

Аркашка соскочил со скамейки, встал между старухами.

— Оттаскайте меня за уши. Кто желает? Ну, оттаскайте меня за уши.

Старухи опешили.

— Ольгу не видел? — спросила бабушка.

— На улицу побежала.

— Она тебе ничего не говорила?

— Сейчас вспомню. Ага, сказала, что больше не вернется, больше к вам не придет, потому что утопится.

— Что?

— Утопится.

Ольгина бабушка закачалась.

— И ты ее не схватил, не остановил за руку?

— Я не успел. А потом, для чего? Одной рыжей меньше.

— Ох ты... Ох ты... — сказала Ольгина бабушка и, как слепая, стала шарить рукой, куда бы ей сесть. — Уши оторвать тебе мало. Гений сырой!

Аркашка подставил ей ухо.

— Рвите, отрывайте. Я их вазелином смазал. Теперь не ухватите.

Старухи посадили Ольгину бабушку на скамейку. Маша напустилась на внука:

— Я тебе что велела? Я тебе велела вальс играть.

— Оттаскай меня за уши.

Старуха попыталась это сделать, но скользкие Аркашкины уши тут же выскользнули из ее пальцев.

— Рвите! Отрывайте! — крикнул Аркашка. — Что, не можете?

Воробьи на дереве тихо сидели. Они не понимали, что происходит, потому что такого во дворе никогда не бывало. Еще никто не отказывался Аркашке уши нарвать.

— Оленька, — всхлипывала Ольгина бабушка.

Дворничиха ее утешала:

— Ну, не рыдай, Клаша. Ну, не рыдай. Не такая она дуручка, чтобы с жизнью своей попрощаться.

— Оленька и пирогов не покушала.

— В милицию заявить нужно, — сказала старуха Маша. — Непременно. Ее по цвету разыщут... Ты мой вазелин взял? — спросила она Аркашку. — Тебе кто велел?

Аркашка снова подставил ухо.

— Тьфу ты, бес. Ну ладно, я найду к тебе другой ключ. Басовый. Я тебе что велела?

— Я музыку с пеленок ненавижу, — вкрадчиво сказал Аркашка. — Рвите мне уши. Отрывайте. Я слух потеряю. — Он сам взял себя за ухо и сам от себя вырвался.

— Вот и свихнулся мальчик, — покачала головой дворничиха.

Воробьи на дереве беспокоились, принялись обсуждать, что сулит им в дальнейшем такое Аркашкино поведение.

— Оленька... — Ольгина бабушка вдруг вскочила. — Я тебя отыщу. — Она ринулась в подворотню. — Я тебя из-под воды спасу.

Старуха Даша устремилась за ней.

— Куда ты, Клаша?! Ты же плавать не умеешь.

— Все из-за твоей Марфы, — сказал Аркашка.

— Господи, воля твоя. Что же я такого сказала? Если Марфа была рыжая, так ведь ее зеленой не назо-

вешь. Уж какая есть. Господи, я ж говорила, что от рыжей Марфы одно несчастье. Недаром я сегодня корову во сне видела. Черную комолую корову... Оленька. Морковочка. Подосиновичек. Рыженькая ты наша... — Старуха побежала догонять подруг.

Когда она скрылась, Аркашка сказал:

— Вылезь.

Ольга вылезла из-за цоколя.

— Так нельзя. У тебя сердца нет.

— Целый час про какую-то Марфу говорить можно? — спросил Аркашка. — Меня каждый день за уши дергать можно? Уши ведь не для того человеку, чтобы их дергали.

Ольга села на краешек скамьи.

— Но ведь они старенькие — бабушки. Их уважать нужно.

— Бабушки — бич педагогики. Это наш директор сказал на собрании. Наш директор сам старик, он точно знает. — Вдруг Аркашка шлепнул кепкой по скамейке. — Придумал. Давай мы тебя перекрасим.

— Это зачем?

— Тогда тебя никто не будет рыжей дразнить.

— Пусть лучше дразнят. Я останусь как есть. А зачем это ты обо мне заботаешься? Ты ведь сам ненавидишь рыжих.

Аркашка снова сел. Вздохнул тяжело-тяжело.

— Я переменял взгляды. Слышишь, давай мы тебя перекрасим. Ты ведь в душе будешь знать, что ты рыжая, а другие не будут.

— Зачем? Пусть знают... Мне эту Марфу жалко. Она, наверно, красивая была и несчастная.

— Ты тоже красивая, — сказал Аркашка. Он застенялся своих слов и, наверно, поэтому рассердился. — Не хочешь перекрашиваться? Как хочешь. Пусть тебе говорят: «Рыжий бес, куда полез?» Пусть кричат: «На рыжих облава!» — Аркашка прокричал эту фразу, после чего добавил: — Рыжая ведьма.

Ольга вскочила.

— Опять? Это ты зачем же опять?

— Я же не дразню тебя. Я просто напоминаю и предупреждаю: «Рыжая карга. Рыжая нахалка. Черный рыжего спросил: «Где ты бороду красил?» Рыжий мерин, куда бегал?»

— Замолчи! — Ольга двинулась на Аркашку с кулаками.

— Что ты? Что ты насакиваешь? — Аркашка прикрылся. — Я же просто говорю, как тебя будут дразнить, если ты не перекрасишься. «Рыжий да красный — человек опасный. С рыжим дружбу не води, с рыжим в лес не ходи». Рыжуха.

— Я тебя убью.

— «Рыжих и во святых нету».

— Я тебя в самом деле убью.

— «Рыжий вор украл топор».

Ольга бросилась на Аркашку. Но он упал на землю и спрятался под скамейку.

— Какая рыжесть, — сказал он оттуда.

Ольга полезла было за ним, но Аркашка отбежал на четвереньках к вазе.

— Иди сюда, я тебе покажу что-то, — позвал он. Отвалил каменную плиту от цоколя. Открылся тайник. Аркашка вытащил оттуда толстую пачку растрепанных книжек. — Вот. Детективы и другие ценные книги. Конан-Дойль. «Лига красноголовых». «Инесса, рыжий дьявол». А вот еще заграничный автор: «В когтях Барбароссы». Барбаросса — рыжебородый пират, гроза Средиземного моря. Мне эти книжки дома читать не разрешают. Дома я читаю по специальной программе. Только классику и биографии великих людей. Бабушка настаивает. Кстати, у классиков тоже рыжие навалом — и почти все как есть злодеи.

— Разорви эти книги.

— Скажешь. Книга — друг человек.

— Собака — друг человека.

— Книжки тоже. Всему хорошему в нас мы обязаны книгам. Видала, какие растрепанные? Их уже, наверно, миллион людей прочитали. Я их берегу, подклеиваю. Кстати, в «Трех мушкетерах» миледи — рыжая. — Аркашка хихикнул, запустил обе руки в свою надерганную челку. — Я иногда читаю и задумываюсь. Что мешает людям спокойно жить? Все говорят — подлецы мешают. И в книжках тоже. Какой-нибудь подлец всем кровь портит. Тысячи людей его ищут, не могут найти: он — как блоха в темноте. Я, значит, задумался: кто же эти подлецы все-таки? Как бы их сразу узнавать, ну, как лошадь или кошку, уже при рождении. Родился

подлец, — сразу на него карточку заводить спецучета и глаз с него не спускать. — Аркашка посмотрел на Ольгу с опаской.

— А ведь действительно, — сказала Ольга. — Подлецы, подлецы, кто же они по природе? Откуда берутся?

Аркашка вытащил из тайника еще пачку книжек, поновее.

— Про шпионов. «Волчье логово». Здесь рыжих штук двадцать. Все самые кровососы фашисты — рыжие. Русский изменник, в прошлом вор — рыжий. Шпион-диверсант тоже рыжий. Хочешь, дам почитать? Не оторвешься.

— Не хочу.

— А вот эту хочешь? «Оливы, оливы». Про нашего разведчика в Италии, во время войны.

Ольгой овладело беспокойство, она напряглась вся.

— В ней тоже есть... эти?

— Полно, — грустно сказал Аркашка. — Фашистский фельдфебель, женщина предательница и целый взвод карателей. Этот взвод так и назывался — «Рыжая банда».

— Значит, ты думаешь... Значит, вот ты как думаешь!

— Ну да, а как же мне было иначе думать? Если в книжках как подлец, так обязательно рыжий. Я даже рацпредложение написал: если все рыжие — подлецы, то почему милиции не переловить их всех и не упрятать куда-нибудь подальше? И дело с концом. Я это сочинение дяде Шуре отдал, который принимал нас. Он всех знает, даже главного комиссара милиции.

— Ну и что?

Аркашка посмотрел на Ольгу, хмыкнул.

— Он тоже спросил: «Ну и что?» А я ему афоризм: «Я мыслю, — значит, живу». А он говорит: «Не тем местом мыслишь». Взял с меня слово, что буду молчать до гроба жизни, потом снял с себя ремень, а с меня снял штаны. — В этом месте повествования Аркашка хлюпнул носом и возмущенно бровями двинул. — Еще лупит, да еще и приговаривает: «Мелкие мысли назойливее насекомых. К тому же от них труднее избавиться. Избавляйся и меня за помощь благодари». А потом говорит:

«Если живешь, научись мыслить шире». А еще родной дядя. Я два дня не мог за роялем сидеть. Мне еще и от бабушки попало за то, что плохо играл. Короче, мы друг друга не поняли. Короче, я решил действовать самостоятельно... Ты была первая.

— Но это же хамство, — сказала Ольга.

— Что хамство?

— Хамство так думать. И эти книжки хамские.

Они помолчали оба, в грусти и в недоумении. Аркашка еще посопел вдобавок, потер свои горемычные уши.

— Зачем ты уехала с Севера? Там тебя, наверное, меньше дразнили.

— Одинаково. Просто там меньше народу. А уехала потому, что в школу. Где мы раньше жили, там школа была, там большой поселок. Сейчас моих папу и маму перевели в океан. А мне либо на Диксон, в интернат, либо сюда, к бабушке. Мы решили — пусть я лучше сюда поеду.

Они опять помолчали.

Воробьи, видя такое дело, взялись за охоту. Ведь как ни говори, — свой желудок гораздо требовательнее чужого горя. Пустились мух ловить. Роскошные осенние мухи гудели и нахально кусались.

Аркашка поймал одну муху с выпученными глазами, оторвал ей крылья.

— Мухи гады! Мухи гадят! Мухи мучают людей! — пропел он.

Ольга подняла опавший лист, разгладила его на колене.

— Почему опавшие листья никто не называет падалью?

— Они красивые.

— Но ведь они тоже рыжие.

Аркашка задумался.

— Ха, — сказал он. — Осенью все листья рыжие. Все, понимаешь? Если бы все люди были рыжими, никто бы на тебя и внимания не обратил. Стань как все и живи себе преспокойно. Слушай, давай мы все-таки тебя перекрасим.

— Чтобы перекраситься, в парикмахерскую идти нужно.

— В парикмахерской не перекрасят. Ты еще несовершеннолетняя. Тебе сколько?

- Двенадцать.
- Прогонят.
- А как же тогда?

Аркашка подумал. Когда он думал, то втягивал голову в плечи. И чем крепче думал, тем глубже втягивал голову, словно старался плечами заслонить свои горемычные уши.

— У нас в квартире одна тетка живет, Зоя Борисовна. У нее всяких красок навалом. Я у нее стяну что-нибудь подходящее. Тебе какой цвет?

— Лучше бы черный, — сказала Ольга.

Аркашка помчался домой.

Ольга взяла книжку из Аркашкиного тайника, развернула. Стала читать:

— «Велик ваш грех перед господом нашим. Мерзкие отродья дьявола бродят по нашей планете, оскверняя образ божий, по которому он создал нас с вами. Я, ребята, имею в виду рыжих. Разве этот богомерзкий цвет волос был у наших прародителей, некогда изгнанных из рая? Нет, и тысячу раз нет! Рыжий цвет пошел от дьяволицы Лилит...»

Ольга застонала, рванула себя за волосы.

— За что? — сказала она. Сгребла книжки в охапку и запихала их обратно в тайник, словно в печку. И привалила камнем.

Прибежал Аркашка с красивой черно-белой коробкой в руках.

— Будешь как Кармен. Вот. «Суппергаммалонель» черный, — прочитал он надпись на коробке. — Подкраска для волос. Дает черный глубокий цвет с блеском. Нетоксична. Укрепляет корни волос. Придает волосам пышность. Одновременно является средством от облысения. Особо рекомендуется при раннем поседении. Подкраска легко смывается.

Ольга взяла коробку.

— «Нашей фирмой выпускается «Суппергаммалонель» всех цветов и всех существующих в природе оттенков. Тем самым фирма пытается разрешить большую гуманистическую проблему — цвет и настроение, цвет и жизненный тонус, цвет и работоспособность...»

— Ты способ употребления читай, — подсказал ей Аркашка и сам принялся читать: — «Подкраска наносится на влажные, чисто промытые волосы нанизанным

на расческу кусочком ваты. Волосы красятся по частям, прядь за прядью, до полного их потемнения». Айда в прачечную. Там вода есть нагретая. Там и свитер скинешь, чтобы не замарать.

— Подкраска легко смывается, — сказала Ольга.

— Ничего. Я с Зоей Борисовной поговорю, она тебя навсегда перекрасит.

Ольга села, стиснула каменную скамейку пальцами.

— Навсегда? И тогда мне всю жизнь придется лгать?

Аркашка потянул ее за рукав.

— Брось. Чего ты задумываешься?..

Ольга вяло пошла за ним.

Воробьи бросили мух ловить, уселись на нижние ветки и нахохлились.

Из кустов вышел шут с балалайкой.

Трень-брень.

— Я пришел извиниться. Может быть, сегодня в театре присутствуют химики, парфюмеры и парикмахеры. Может быть, они скажут, что нет такой замечательной черной подкраски для волос, что покамест ее не придумали. Я напому: история эта началась неизвестно когда и, наверно, не скоро закончится. Представьте, что действие моего рассказа происходит в том, будущем году, когда черная краска «Суппергаммалонель» уже изобретена и уже продается во всех киосках, как нынче продаются спички. Хотя мне очень желательно, чтобы такой рассказ в том, будущем году был невозможен. Надеюсь, благородные юные зрители, досточтимые пионеры, простят мне такое вольное передвижение во времени.

Шут ударил по струнам своей балалайки:

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:

«Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,

Лицо вытянулось, как у груши.

«СУМАСШЕДШИИ!

РЫЖИИ!»

Запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка.

И до-о-о-олго

Хихикала чья-то голова,

Выдергиваясь из толпы, как старая редиска¹.

¹ В. Маяковский. «Ничего не понимают».

Двор зашумел контрабасовым голосом. Из подворотни появилась старуха Маша.

— Милиция знает дело. Милиция уже по всему городу рыщет. Найдут. Тем более, что она такая заметная. — Старуха Маша увидела на скамейке Аркашкину кепку. Взяла ее в руки и принялась по сторонам озираться.

Пошарила за кустами, обошла вокруг вазы, в вазу заглянула. Встала на скамейку, посмотрела на дерево, — может быть, ее внук в ветках спрятался.

— Он же не воробей, — сказал ей шут с балалайкой.

— Воробей не воробей, а он еще шустрее воробья. У меня от него каждый день седых волос прибавляется. — Старуха слезла со скамейки, недовольно глянула на шута. — Опять со своей трынкалкой?

Шут струны погладил. Они тихонько запели.

— Брось свою трынкалку, — строго сказала старуха Маша. — Культурный человек с балалайкой ходить постесняется.

Шут поиграл немного «Наш паровоз летит вперед...»

— Тьфу на тебя. Была бы жива твоя мать, она бы глаза со слезами выплакала. Я тебя вырастила с Дашей и Клашей. А ты кем стал? Шутом, прости господи.

Шут ударил по струнам. Струны крикнули.

— Шурка, — прошипела старуха, — я у тебя сейчас эту балалайку схвачу да как тебе по башке-то трахну... Из-за ней, из-за балалайки, ты холостой. И счастья тебе из-за ней не будет. Какая приличная девица на тебя с балалайкой поглядит?

— Не отвлекайтесь, тетя Маша, — сказал ей шут (Дядя Шура).

Из прачечной вышли Аркашка и Ольга. Ольга — черноволосая. Ольга — пышноволосая. Аркашка вокруг нее вьется.

— Законно. Кармен — как две капли.

Ольга взяла у него зеркало, принялась волосы поправлять. Лицо у нее спокойное, как вода в тазу, и не понять, нравятся ей черные волосы или не нравятся.

Старуха выскочила на середину двора.

— Где ты был? — грозно спросила она у Аркашки.

— Там.

— Где это — там?
— Ну там, в прачечной.
— А это кто?
— Ну, девчонка из нашего класса. Пришла, чтобы я ей объяснил уроки.

— Ты ей уроки в прачечной объяснял? Что же это за уроки, скажите на милость?

— Обыкновенные. Из двух труб вытекает вода...

— За рояль!

Скользкие Аркашкины уши выскользнули из старушкиных пальцев. Аркашка нырнул в парадную.

— За рояль! — старуха Маша, как поршень, вошла вслед за ним.

Тень опустилась на двор. Все во дворе замерло, будто гром сейчас грянет — огнем опалит. Двор зашумел грустно и жалобно. Из подворотни повеяло холодом.

Одна за другой появились Клаша и Даша.

— Оленька, — причитала Ольгина бабушка. — Даже пирожка не поела.

— Не убивайся, Клаша. Не нужно рыдать. Она же не дурочка, чтобы топиться. Ходит где-нибудь, гуляет.

Ольга отпрянула, но старухи мимо прошли — не узнали.

Ольга уходила, оглядываясь, словно прощалась. Но не успела она выйти на улицу, как из подворотни навстречу ей появился Аркашка. Как он из парадной вышел, только ему известно. Недаром мальчишки знают дома лучше строителей и управхозов.

— Не робей, — сказал он. — Дело обыкновенное.

— Я улечу. Принеси мне, пожалуйста, мой портфель. Там у меня деньги и документы. Денег мне до Архангельска хватит. Дальше меня знакомые летчики доведут через Амдерму.

— Я, может, тоже с тобой улечу. Папа по морям плавает, мама в командировке. Пускай сама сидит со своим роялем. Жди меня в охотничьем магазине на соседней улице. Если магазин закрыт или мало ли что, жди меня в парке. Там парк рядом.

Парадная чмокнула, словно из бутылки пробку вытянули. Во двор выскочила Аркашкина бабушка.

— Беги, Ольга. Жди, где условились.

Ольга поспешно скрылась в подворотне.

Старуха Маша, расставив руки, пошла на своего любимого внука. Она была как вратарь.

— Я тебе что сказала? Я тебе кто? . .

Аркашка попытался проскочить у нее под рукой. Она схватила его за ворот и торжествующе крикнула:

— За рояль!

Когда ее крик замолк, шут (дядя Шура) тронул струны своей балалайки.

— Кстати, о музыке, — сказал он. — Нас было трое в этом дворе. Мой старший брат, Матвей, ныне Аркашкин отец. Мой средний брат, Николай, и я, ныне шут. Мы все трое играли на балалайках. Мы выходили во двор, садились на эту скамейку — и со всех сторон отворялись окна, соседи слушали нас, заказывали свои любимые песни.

Шут сыграл старинную песню. Двор, припомнив мелодию, начал вторить ему. Забубнили подвалы, затрубили водосточные трубы, чердаки загудели, словно фоготы.

— Тогда мы были мальчишками. — Шут улыбнулся и еще поиграл немножко. Теперь он играл что-то очень печальное. — Но тете Маше показалось, что мы разбазариваем свои таланты, растрачиваем их не на том инструменте. Балалайку тетя Маша считает сувениром — и только, горькой памятью нашего прошлого, чем-то вроде лаптей.

Она повела нас в Дом работников просвещения. Старшего зачислила в класс органа, среднего определила учиться на арфе, меня записали в класс скрипки.

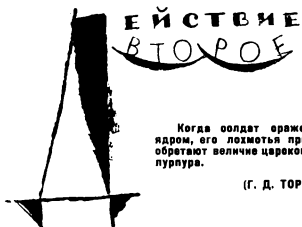
Больше не открывались окна квартир. Музыка ушла со двора. Соседи слушали граммофоны. Встречая нас, они смотрели на каждого с укоризной, но молчали: не хотели ссориться с тетей Машей.

Через месяц мы перестали ходить в Дом культуры работников просвещения.

С тех пор тетя Маша нас всех немножечко ненавидит. Тетя Маша человек открытый. «Мне эта песня не нравится, — стало быть, песня плохая», — говорит тетя Маша.

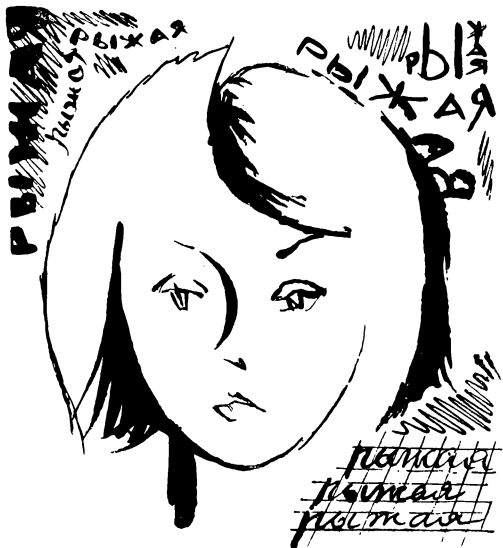
«Мне эта сказка не нравится, — значит, в печку ее», — говорит тетя Маша.

«Мне эта рожа не нравится. . .» — и так далее.
Да здоровствует тетя Маша!
Тетя Маша — закон!
Тетя Маша — судья.
Тетя Маша — венец создания. Посторонитесь вы, не
похожие на нее!
Шут поклонился.
— Антракт.



Когда солдат поражен
ядром, его лохмотья при-
обретают величие царского
пурпура.

(Г. Д. ТОРО)



КАРТИНА ШЕСТАЯ

В магазине «Охота» торгуют хитроумными патентованными приспособлениями, искусственными приманками и острым металлом. В рыболовной стороне товар пестрый, но мелкий. В охотничьей -- товар солидный. Матовый блеск ружей внушает почтение.

Возле прилавка покупателя: шут с балалайкой, шофер такси, Боба, Тимоша и еще охотник.

Охотник был поистине шикарен, одетый в кожаные болотные сапоги, кожаную куртку, парусиновые штаны с молниями, с кинжалом и патронташем на поясе, с ружьем в чехле. На голове у него — старенькая поблекшая тюбетейка.

Шут (дядя Шура) разглядывал рыболовный товар. Из десяти его взглядов восемь приходилось на продавщицу. Она это чувствовала, то и дело поправляла рыжие, красиво прибранные волосы, а также яркий шарфик на шее. Глаза у продавщицы были голубого ясного цвета.

Боба и Тимоша самозабвенно ввали:

— Лучшие в мире черви. Высший люкс. Экстра. Смотрите, как выются. Смотрите, какие они жирные, как поросята.

— Купите червей. На таких кто хочешь заберет, хоть судак, хоть сом.

— Я уже взял на двугривенный, — сказал им таксист, — не мелькайте перед глазами. — Таксист устался на продавщицу. — Какие у вас глаза. Хороший у вас магазин, самый прекрасный, по существу... у вас все есть для души.

— Даже черви, — ответила ему продавщица. — Правда, это уже частный сектор, но тем не менее. — Продавщица смотрела на покупателей, как на больных детей, которым обязательно и сию же минуту дай погладить живого слона.

Тимоша встряхнул банку с товаром.

— Дяденька, купите червей. Уже немного осталось.

— Я ловлю на блесну, — сказал шут с балалайкой.

— А вы на блесну червяка насадите, знаете как клюнет.

— Я еще не выбрал блесну.

Таксист посмотрел на него исподлобья.

— Вы уже который день выбираете.

— Извините, — сказал шут. — Клянусь вам, я не хотел этого.

— Чего — этого? — насторожился таксист.

— Того, о чем вы сказали.

Шофер покрутил пальцами возле виска, снова по-

вернулся к продавщице, показал рукой на полки с товарами.

— Прекрасно для глаз. Так бы и забрал все это домой. Имею в виду — вместе с вами.

Продавщица ему улыбнулась.

— Дяденька, купите червей. Резвые, черти.

— На любую рыбу. Универсалы. Скоростники.

— Не занимаюсь, — сказал мальчишкам шикарный охотник. — Рыбная ловля не для меня. Рыбная ловля — занятие для глухонемых.

Шофер покрылся пятнами по лицу.

— Что вы сказали?

— Я сказал: рыбная ловля — занятие для глухонемых.

— Да вы имеете представление?!

— Граждане, поступила новинка, — продавщица поспешно достала новинку в коробочке, — полюбуйтеся...

Таксист набрал воздуху в широкие громкие ноздри.

— Кровапускатель. Лесной гангстер. Болотный пират!

— Вы только взгляните, — попросила его продавщица.

— Беру... — Таксист спрятал новинку в карман и, заведя глаза ввысь, произнес: — Если бы рыба клевала на яблоки, рыбаки бы всю землю яблонями засадили.

— А она не клюет, — ласково пробасил охотник.

Рыбак грозно скрипнул зубами, но выдержка в нем была, недаром он работал в такси.

— А бедные птишки плачут, — сказал он голосом мягким, как вазелин. — Бедные птенчики, несчастные сиротки. Кто ихнюю маму убил?

Продавщица нервно поправила шарфик.

— Граждане, обратите внимание. Блесна «Удача». Для мутной и полупрозрачной воды. — В ее руке блеснуло нечто золотое с красными перьями.

Рыбак схватил блесну вместе с ее рукой.

— Беру!

Продавщица спросила шута (дядю Шуру):

— А вы не хотите взглянуть?

— Я смотрю, — сказал шут. — Мне очень нравится.

— Тогда чего же вы ждете?

— Не торопить события, ждать — вот мой удел.

— И на эту не клюнет, — сказал рыбаку охотник.

Таксист мощно задвигал локтями.

— Я еще с вами договорю. Вы... вы медведь...

— Кстати, о медведях... — Охотник придвинулся к шуту (дяде Шуре).

На улице нетерпеливо и нервно загудела машина.

— Кто там сигнал трогает? Руки переломая! — крикнул таксист. И тут же улыбнулся продавщице, и тут же сказал с печальной надеждой: — Извините, работа.

— Рубль двадцать. За две блесны, — улыбнулась ему продавщица.

Таксист отсчитал деньги.

— Какие вечера у реки. Какие бывают ночи! Соловей мой, соловей...

На улице снова загудел сигнал.

— Ноги повыдерживаю! — заревел таксист и выскочил на улицу.

Когда дверь захлопнулась и в магазине установилась мирная тишина, охотник тронул дядю Шуру за локоть.

— Кстати, о медведях, — сказал он загадочным басом.

Продавщица спрятала деньги в кассу.

— Трудно, — сказала она.

— Что трудно?

— Трудно быть продавщицей. — Она сунула карандаш за ухо, руки потерла и заговорила чужим, скрюченным голосом: — Продавщица — это артистка. Ее дело продать залежалый товар. — И добавила уже своим голосом: — Артисткой быть тоже трудно. Когда я торгую, мне говорят: «Вы продавщица и не стройте из себя Дездемону». Когда я играю в самодеятельности, мне говорят: «Вы Дездемона — позабудьте, что вы продавщица». Видимо, артистам и продавцам многое следует забывать.

— Учись, Боба, — сказал Тимоша.

Шут вынул откуда-то из волос пушистую астру «Страусовое перо». Протянул ее девушке-продавщице.

— Учись, Тимоша, — сказал Боба.

Девушка цветок понюхала. Улыбнулась задумчиво.

— Цветы, как много в вас смысла. — И вдруг, вероятно вспомнив свои обязанности, спросила шута очень строго: — Вы, наконец, выбрали что-нибудь, гражданин?

Охотник кашлянул деликатно.

— Кстати, о медведях...

Дверь отворилась с мелодичным звоном. В магазин вошла Ольга. Она впустила с собой шум машин, говор прохожих, горький запах осенних садов. Она прошла мимо мальчишек.

— Купите червей, — сказал ей Тимоша. — Первый сорт черви.

— Высший люкс, — подхватил Боба. — Экстра... — Он хотел что-то еще добавить, да так и остался стоять с открытым ртом.

Ольга остановилась у прилавка с пестрым товаром. Боба глядел на ее затылок, на ее черные, как березовый уголь, волосы. Рот у него открывался все шире и шире и захлопывался судорожно.

— Кстати, о медведях. Я, можно сказать, спал с медведем в обнимку. Жуткое дело...

Боба наконец справился с зевотой.

— Фантастика, — сказал он. — Не потерплю обмана.

Продавщица вскинула на него фиолетовые от негодования глаза.

— Мальчики, это еще что?

Боба ее не слышал. Он шептал что-то Тимоше на ухо, показывал на Ольгу.

Охотник смущенно откашлялся.

— Балбесы... Жуткое дело.

— Значит, спали в обнимку, — продавщица поправила волосы.

— Рыжая! — вдруг сказал Боба.

Ольга пригнулась к прилавку, прилипла носом к стеклу. Продавщица уставилась на шута (дядю Шуру).

— Зачем вы сюда ходите? Зачем вы подарили мне астру?

— Рыжая! — еще громче сказал Боба.

— Почему вы молчите? — заплакала продавщица. — Молчите, даже когда меня оскорбляют.

Охотник уже держал Бобу за воротник. Тимоша убежал к двери и сейчас не знал, что ему делать. Ольге удрать нельзя: у дверей Тимоша стоит.

В голубых глазах продавщицы блеснули голубые слезы.

Боба понял свою ошибку.

— Я не вас, — заскулил он. — Я же знаю, что вы не рыжая.

— Какая вы рыжая, — подтвердил от двери Тимо-

ша. — Вы в прошлый раз были белые, а еще позатот — розовые.

— Белая лучше, — сказал шут.

— Тогда я играла Офелию, — всхлипнула продавщица.

— И розовая хорошо, — сказал шут.

— Тогда я играла Джульетту, — всхлипнула продавщица.

— А я рыжий, — сказал шут. — Я работаю клоуном в цирке.

— Мы не вас, — сказал Боба.

Продавщица еще раз всхлипнула.

— А я обыкновенная. У нас молодежный экспериментальный театр. Мы ищем новые формы на добровольных началах. Правда, пока еще ничего не нашли. Только перекрашиваемся всякий раз. Сейчас я играю мешанку — отрицательный персонаж.

Охотник Бобу встряхнул.

— Жуткое дело. Зачем ты кричал «рыжая»? Кого ты имел в виду?

— Да вот эту, — сказал Боба. — Она и есть рыжая.

Охотник посмотрел на Ольгу.

— Не надо. Не надо оскорблять. Ты же отчетливо видишь, что она черная.

— Прикинулась, — сказал Боба. — Могу биться — рыжая.

— Она действительно рыжая, — вмешался шут (дядя Шура).

— Балбесы. — Охотник выпустил Бобин ворот. — Даже если и рыжая. Нельзя указывать человеку на его природные недостатки.

Продавщица тоже посмотрела на Ольгу. Вспомнив свои обязанности, она спросила:

— Тебе чего, девочка?

— Ружье.

— Ружье?

Ружья стояли в стойке, как строгие черные клавиши.

— Ну, — сказала Ольга, — ружье, которое подешевле.

Продавщица ей улыбнулась.

— Ты, девочка, не в тот магазин пришла. Ружья — игра для взрослых. А взрослые игры не бывают дешевыми.

— Мне не играть. Я кого-нибудь укокошу. — Ольга кинула взгляд на Бобу и отвернулась.

— Что? — воскликнули охотник, продавщица, Тимоша и Боба в один голос.

Шут достал откуда-то балалайку.

— Укокошу, — повторила Ольга.

Тимоша подошел к ней, осмотрел ее со всех сторон.

— Зачем перекрасилась?

— Авантюристка! — сказал Боба. — Мы у нее спросим, зачем она перекрасилась. Сегодня она волосы красит — раз. Завтра маникюр наведет — два. Послезавтра — губы намажет. Рыжая, от нее чего хочешь ждать можно.

Ольга схватила ружье. Вскинула его к плечу.

— Убью!

Боба упал на колени. Руки поднял.

— Убьешь — ответишь!

Тимоша снова спросил:

— Зачем же ты перекрасилась?

Охотник отобрал у Ольги ружье, поставил его на место.

Боба дрожал всем телом.

— Не дрожи, — сказала ему Ольга. — К сожалению, оно не заряжено.

— А я от смеха дрожу.

Охотник ткнул в ружье пальцем, затем этим же пальцем ткнул Ольге в лоб.

— Запомни, этим не шутят.

— Зато этим шутят. — Шут (дядя Шура) взлохматил Ольгины волосы. — Шутят сколько хотят, сколько угодно. Но если горбатому тысячу раз сказать, что он горбат, он кого-нибудь укокошит, и суд его оправдает.

— Она не горбатая. Она красивая, — смутившись, поправила его продавщица.

— Только рыжая, -- подсказал Боба. — Страшное дело, если ружья вдруг попадут в руки к рыжим.

Ружья стояли в стойке; они-то знали, что оружие только в умных руках безопасно. Но их продавали, не спрашивая, умен или глуп покупатель. Ружья были товаром, а, как известно, товар владельца не выбирает.

Шут (дядя Шура) тихонечко струны нащипывал.

— Рыжий — чужак. Рыжий — забава. Я выхожу на арену в своем парике, и люди сразу же начинают сме-

яться. Это моя работа. Я еще не успел произнести ни одной глупости, а они уже улюлюкают. Когда я спотыкаюсь и падаю, они стонут от хохота. Я делаю благородное дело. Смех — витамин для нервной системы. Особенно им нравится, когда я плачу. . . Но иногда мне кажется — разреши им. и они начнут швырять в меня зонтиками и растаявшим эскимо. Из-за одного только рыжего парика. Но ведь я могу его снять, мой рыжий парик. А вы не задумывались, почему у клоуна рыжий парик? Не зеленый, не синий, а рыжий?

Охотник посмотрел на шута с пониманием. Потом он снял свою тубетейку. Голова у него оказалась лысая и блестящая, как плафон.

— Вот, — сказал охотник. — Жуткое дело. Со времен гражданской войны. Я болел тифом. Тиф — болезнь военная, голодная. Во время тифа волосы у меня выпали и больше уже не выросли. Двадцати лет мне еще не было. Я смолоду лысый. Так меня лысым и звали. На войне я даже имя свое забыл. Лысый так лысый — какая разница на войне. Зато в мирное время — у всех имя-отчество, а я опять лысый. В трамвае кондуктор кричит: «Эй ты, лысый, деньги платил?» У других не спросит — у меня обязательно. Жуткое дело. В кинематографе в спину толкают: «Эй ты, лысина, не отсвечивай, спрячь отражатель за пазуху». На танцах девчата со мной танцевать не идут — стыдятся. Со всех сторон хихикают: «Эй ты, плешь. Эй ты, голова, как колено. Эй ты, кудрявый. . .» Сначала я объяснял: мол, потерял волос в сражениях войны за советскую власть. Даже орден показывал. Да всем не накланяешься, и от рассказов кудри не нарастут. Я даже застрелиться хотел. Потом подумал, подумал и утих. Надел тубетейку и так всю жизнь в тубетейке прожил.

— Что же мне делать? — спросила Ольга.

Боба тут же сунулся с предложением:

— Побрейся. Лучше быть лысым, чем рыжим. Могу биться.

— А еще поэт, — сказала Ольга. —

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый. . .

Разве ты когда-нибудь сможешь такие стихи написать!

Девушка-продавщица погладила Ольгу по голове.

— Ты хорошо читаешь. Не нужно бриться. Проще можно. Стань великим человеком — и все. Великим все разрешается. Великие могут быть рыжими, лысыми, бородатými, даже лопоухими.

— А если я не смогу?

— И не надо, — сказал охотник. — Посмотри на меня. — Он приосанился, выставил ногу в болотном кожаном сапоге. — Видишь, как я одет? Я одет экстравагантно. А кто дал мне право так одеваться? Охотничий билет. Я охотник, и одеваюсь я, как охотник. Сними я ружьишко, патронташ, кинжал, всякий встречный-поперечный надо мной захохочет. А сейчас молчат — не смеются. Потому что у меня охотничий билет — разрешенье. У меня, жуткое дело, все в соответствии с документом. — Охотник произнес как пророчество: — Удостоверение личности.

Боба захохотал:

— Она тоже охотница. Моржа один на один завалила.

— Ну, завалила. Я его из винтовки.

— Моржа? — Охотник поежился и засмеялся. — Кстати, о медведях, — сказал он. — Я вам еще не поведал?

— Она оленей била. — Боба от смеха скорчился. Он смеялся с подвизгом. Охотник смеялся сипло, словно из него пар выходил.

Ольга бросилась к стойке с оружием. Они с продавщицей вместе схватили ружье и потянули его каждый к себе, позабыв, что в незаряженном ружье больше смешного, чем страшного.

Охотник и Боба заливались, словно два саксофона. Тимоша молчал.

Шут (дядя Шура) тоже смеялся. Он сидел на полу и смеялся голосом скрипки. Из его глаз длинными острыми струйками били слезы.

Закатывался Боба:

— Во врет — уметь надо. Ну и рыжая! Соври еще! Икал охотник:

— Жуткое дело. Куда мне со своим медведем...

Ольга выпустила ружье. Продавщица спиной ударила в полку с товарами. Ольга тут же схватила другое. И... грохнул выстрел. Ольга испуганно посмотрела во-

круг. Дыма не было, раненых тоже. Это выстрелил шут (дядя Шура) из дурацкого пистолета разноцветными кругленькими бумажками с очень вкусным названием — конфетти.

— Почему вы смеетесь? — спросила Ольга. — Почему вы смеетесь, не зная? Почему вы ему верите, почему вы не верите мне?

— Она нерпу сама себе настроляла на шубу, — взвизгнул Боба.

Ольга выбежала на улицу.

— Боба, имеешь, — тоскливо сказал Тимоша.

— Посмеяться нельзя? Смех — витамин для нервной системы. — Боба снова застрекотал: — Ха-ха-ха!

И никто не заметил, как в магазин тихонько вошел Аркашка с Ольгиным нерпичьим портфелем.

— Ольга, — позвал он. — Ольга!.. Дядя Шура, где Ольга?

— Убежала, — сказал ему шут (дядя Шура).

Аркашка подошел к Бобе.

— Здравствуй, старый бродяга, — сказал ему Боба. — Вижу, ты, брат, не изменился с той благословенной поры, когда ходили кожаные рубли и деревянные копейки, когда короны королей были доступны для нас, как теперь портсигары; когда принцессы были красивыми, а вино крепким, когда наши шпаги не знали горечи поражений...

— Здравствуй, старый бродяга. Над Ольгой смеешься?

— Угадал, гениальный ребенок.

Аркашка трахнул Бобу портфелем по голове.

— Еще хочешь?

— Ты что, одурел? — спросил Боба. — Ты, старый бродяга...

— Не за ребенка — за Ольгу.

Боба бросился на Аркашку, он бы смял его, но тут между ними встал Тимоша.

— Отскочите, — сказал он. — Или оба в нокауте. Зачем ее портфель приволок?

— Она улетать хочет. Вот уедет она, если все здесь над нею смеются. А тебя, Боба, я из рогатки достану.

— Уехать? Ребенок! От себя куда уедешь? Нету таких колес. — Продавщица посмотрела в глаза дяде Шуре, в самую их сердцевину.

Тимоша бросился к двери. На улицу выскочил.

— Ольга!

— Ольга! — передразнил его Боба. — Еще один спятил.

Тимоша вернулся с улицы, к охотнику подошел:

— А вдруг она не врала?

— Мало вероятно, — вздохнул охотник. — Хотя и другое — смеху не к спеху.

— А вдруг она не врала? — спросил Тимоша у продавщицы.

Продавщица кивнула:

— Не врала.

— А вдруг, — сказал шут, — а вдруг врала?

Боба хихикнул, но, поймав скучный Тимошин взгляд, наглухо прикрыл рот ладонью.

— А вдруг? — повторил шут. — Ай-яй-яй, и мы ей поверили.

— Ну и что? Ну и поверили! — сказал Тимоша с сердитым напором.

— Аркашка, где она может быть, твоя Ольга?

— Она не моя. С какой стати она моя? Она такая же моя, как и твоя. . .

— Короче, где она?

— В парке.

Тимоша выскочил, хлопнул дверью. За ним побежал Аркашка. И уже потом пошел Боба, почесывая затылок.

Продавщица сказала:

— Они встретятся в парке. . .

Шут сказал, глядя в пол и краснея:

— Там хорошее место для встречи. . .

Охотник на цыпочках, чтобы не скрипнуть, пошел из магазина. Он шел затаив дыхание, он не хотел мешать.

— В восемь вечера, — сказал шут.

— В восемь вечера, — сказала ему продавщица.



КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Осень пахнет забродившим яблочным соком. Листья на деревьях — будто крылья чудесных бабочек. Они, наверно, улетают с ветвей к желто-розовым зорям, к багряным закатам, мажутся в огненных красках и прилетают обратно, чтобы всех подразнить своим солнечным цветом.

Осенью — ясным днем, темной ночью, даже в дождь, даже в бурю — слышен печальный какой-то звук, будто поезд уходит. Будто поезд этот последний.

Шут (дядя Шура) бодро шел по аллее старинного парка. Он говорил:

— Убежала девочка плакать. Как говорится, не прижилась. Но сантименты нам не к лицу! Мы тверды и проворны. Ха-ха-ха... Перемелется — мука будет. Подумаешь, рыжая девочка — частный случай. — Шут голову опустил. Руки развел. — А самое синее небо над нами. И самые теплые крыши над нами. И самые добрые люди вокруг. И очень хочется тихой красивой личной жизни. Особенно когда мы влюблены... Тс-с... Осторожно... — Шут оглянулся. — Это не детская тема. Я извиняюсь. Солидные люди стоят на страже детского слуха...

Ольга шла вдоль гранитного парапета, за которым текла речка. Эта речка — протока — впадала в другую речку, а уж та, своим чередом, — в море. Ольга трясла головой, черные, как березовый уголь, волосы падали ей на лоб густой челкой.

Ольга не заметила, как к ней подбежал Боба.

— Эй, ты! — крикнул Боба.

Она не услышала.

Боба дернул ее за рукав. Она остановилась и тотчас приняла оборонительную позицию.

— Не надо, — сказал Боба. — Меня уже били. — Боба повис на скамейке, как тряпка, и звук у него выходил изо рта со свистом, словно Боба испортился. — Полный комфорт. Тимоша теперь за тебя заступает... Тимоша осел. — После этих слов Боба вскочил со скамейки и огляделся. — Я в переносном смысле...

— Имя у него хорошее, — сказала Ольга. — Тимоша.

— Да Юрик он, Юрик. У него фамилия Тимофеев. Ты на меня злишься?

— Боба, я тебе прощаю. Я все-все прощаю. Я ни на кого не сержусь. Зачем? Злой бывает только глупость.

Все птицы в парке громко и удивленно пискнули, словно им открылось нечто великое. Они все разом повернули головки и посмотрели на угрюмую серую ворону, которая сидела на самом высоком дереве.

«Кар-р-р-р», — сказала ворона и в свою очередь посмотрела на ястреба, который дремал высоко в небе на распластанных крыльях.

Боба уселся в небрежной позе — нога на ногу.

— Угадай, я умный или глупый?

Ольга сказала:

— Наверно, ты не дурак.

— Правильно.

— Тогда зачем ты все время кривляешься?

— Для балды. То есть для смеха. Без смеха кто я такой? Обыкновенный серый человек.

— И тебе все равно, над чем смеяться?

— Конечно.

Ольга уселась рядом с Бобой.

— Боба, только не врать. Если ты увидишь, что человек тонет, ты бросишься к нему на помощь?

— В зависимости от желания утопающего, — сказал Боба. — Если утопающий кричит: «Помогите, помогите!» — я брошусь его спасать. Я прилично плаваю, не хуже Тимоши. Если утопающий молча тонет, зачем мне мешать ему? Может, он от этого удовольствие получает.

— Ну так вот, прощай, Боба. Я пришла сюда утопиться.

Боба захохотал.

— Нашла время. Сейчас вода холодная.

— Утоплюсь, понятно тебе? Возьму и утоплюсь в самом деле.

Что-то в Ольгином голосе насторожило Бобу.

— Я тебе утоплюсь, — проворчал он. — Я, конечно, наговорил тебе гадостей, но я не со зла. Я просто поторопился.

— Не уговаривай. Я все обдумала. Я не могу, чтобы меня каждый день изводили и надо мной издевались. Я не великий человек — мне рыжей нельзя быть. И я не актриса — мне нельзя красить волосы. И я не клоун — мне нельзя снять парик после работы. Но жить всю жизнь в тубетейке я не желаю. Не хочу! Я решила: будет лучше для меня и для всех, если я утоплюсь. А теперь иди. Люди топят в одиночестве. Передай привет всем. . . Ну, иди, иди.

Боба стоял перед Ольгой, переминался с ноги на ногу.

— Ну, чего не идешь?

— Можно, я посмотрю? Я никогда не видел, как люди топятся.

— Нельзя. Ты ведь не выдержишь — спасать бро-
сишься.

— Я же сказал — не брошусь. Во-вторых, я просту-
женный.

— Все равно иди.

— Прощай, — сказал Боба.

— Прощай.

Боба пошел, и Ольга пошла, каждый в свою сторону.

Боба обернулся, крикнул через плечо, в его голосе прозвучала надежда:

— Ольга, не топись, а? Ты хоть и рыжая, но хоро-
ший человек.

Ольга вдруг бросилась на Бобу с кулаками:

— Убирайся! Уходи! Чего ты ко мне привязался? Ну,
уйди, тебе сказано. Люди топятся в одиночестве.

Боба закрыл голову руками и удрал в кусты.

Ольга села на паркет. Посидела немного, пригорю-
нясь, и позвала тихим печальным голосом:

— Боба, а Боба!

Боба стоял за кустом.

— Боба, а Боба! — еще раз позвала Ольга.

Молчание.

Гранит, синеватый с розовым, еще сохранял тепло.
Вода в реке густого синего цвета. На ней листья крас-
ные и оранжевые.

— Пора, — сказала Ольга, растерянно шмыгнув но-
сом. Она встала на паркет, посмотрела в воду. — Вода,
почему ты молчишь? А собственно, почему ты должна
со мной разговаривать? С предателями не разговари-
вают... — Ольга руки раскинула, — ей, наверно, каза-
лось, что именно так, с раскинутыми руками, топятся
люди.

Боба за кустом заплакал, как грудной ребенок. Он
заливался и захлебывался от горя. И сам себя утешал
старушечьим голосом:

— Не плачь, не рыдай. Ты мое дитятко. У малень-
кого животик болит. А мы ему молочка дадим.

Ольга села поспешно, ноги свесила и, когда плач
утих, почесала одной ногой другую.

— Не дают спокойно утопиться, ходят тут, будто
другой дороги им нету... Туфли я, пожалуй, оставлю.

Они еще совсем новые. — Ольга сняла туфли, обтерла с них пыль носовым платком, заодно нос вытерла и поставила туфли на парапет. Встала во весь рост. . .

Птицы над ее головой примолкли, оцепенели от жгучего любопытства. Кроме вороны. . .

— Прощайте, деревья. Птицы, прощайте. Вы меня никогда не презирали. Если разобратся, вы тоже рыжие. Вас тоже многие обижают.

— И ты, камень, прощай. — Ольга нагнулась, погладила теплый камень — гранит, отполированный многими прикосновениями. — Ну, а теперь пора. Еще раз прощайте. — Ольга руки раскинула. . .

Боба за кустом взвизгнул и засмеялся.

— Нетушки, нетушки, — затараторил он, как пятиклассница, у которой есть что сказать подружкам по большому секрету. — Нетушки, и не спорьте. Она сама мне сказала, что ей Танька сказала, а Танька слышала в шелку. . . Ха-ха-ха. . . Хи-хи-хи. . .

Ольга опять села.

— Бегают тут. Ходят всякие. Эй вы, уходите отсюда! — Она подождала, пока смех замолк. Повздыхала досадливо. — Свитер я тоже оставляю. Это хорошая вещь. Мне его мама вязала. Кому-нибудь пригодится. — Ольга стащила свитер, положила его рядом с туфлями. Встала, руки раскинула. — Прощайте, деревья. Листья, прощайте. . .

Боба за кустом в один миг скинул кеды и куртку. Напружинился весь.

— И вы, птицы, прощайте. . . Почему вы молчите? Вам противно со мной разговаривать? — Ольга почесала затылок, поежилась. — Холодно. . .

Ворона снялась с дерева, полетела в другую часть парка, где карусели.

— А почему я должна топиться? — сказала Ольга. — Если я утоплюсь, все будут ахать и охать, станут жалеть бабушку. Старуха Маша скажет, что я вся как есть в рыжую Марфу. Боба скажет: «Рыжая, от нее чего хочешь ждать можно». Зачем это я должна топиться из-за дураков? — Ольга сунула руки в карманы.

Птицы над ее головой запищали — принялись спорить, права Ольга или не права. Некоторые щеглы даже подрались между собой.

Боба за кустом досадливо крикнул.

— Такой был случай прославиться, — сказал Боба.

Раздался свисток, и на аллее появился милиционер, он же шут (дядя Шура).

— Что здесь происходит? Прекратить! Я вам сказал, прекратить стоять близко к воде! Нельзя вас оставить одних ни на минуту. Что это вы тут разделись?

— Что, и раздеться нельзя? Может, мне жарко.

— Не может быть жарко, потому что сегодня не жарко.

— Может, мне изнутри жарко.

— В таком случае вызывают врача, а не раздеваются возле самой реки.

— Не нужно врача. Никого мне не нужно. Может, я искупаться хотела.

— Сейчас же одеться!

Ольга хотела возразить, но милиционер, он же шут (дядя Шура), поднял руку.

— Р-разговорчики!.. Могу я, наконец, иметь личную жизнь?

Боба за кустом второй кед натянул, куртку надел и куда-то пошел, по дальнейшим своим делам. Птицы разлетелись по всему парку, ничего интересного для них уже не предвиделось. Остались только воробьи — и то потому, что им лень летать на далекие расстояния.

— А почему вы не извиняетесь перед публикой? Вы так любите это делать, — сказала Ольга довольно ехидным голосом.

— Р-разговорчики! — Шут (дядя Шура) усмехнулся, снял милицейскую фуражку, сел рядом с Ольгой. — Устал я за вами бегать. Иногда очень хочется мне, чтобы все было тихо, спокойно. Чтобы у всех была красивая личная жизнь.

— Тогда зачем вам эта милиционерская фуражка? Может, для страха?

— Для авторитета. Милиционер всегда прав — в этом смысл его должности. Ты заметила, старые милиционеры похожи на генералов. У них жизнь нелегкая. Нелегко человеку, который всегда прав. Конечно, если он это понял.

— Дядя Шура, у вас с собой нет чего-нибудь поесть, а? Я что-то есть захотела.

— Живешь, если есть просишь. Бутерброд с сыром.
— И вы, дядя Шура, поешьте. Я почему-то не умею есть в одиночестве.

Ольга разделила бутерброд пополам.

— Зачем, а? Зачем они мне не верят? — спросила она, набив рот. — Разве у меня на лбу написано, что я врунья?

— А разве написано, что ты правдивая?

— Шутите вы, — пробормотала Ольга. — Как же это можно не верить человеку, не зная его?

— А может быть, он мазурик.

— Да, но, может быть, он правдив, может быть, честен. Скажите, с чего мы должны начинать отношения?

— С доверия.

— Дядя Шура, а вы не писатель?

— Ты же знаешь, у меня другая работа.

— А может быть, вы пишете по ночам?.. Дядя Шура, если б вы были писателем...

Шут провел по своим волосам рукой, стали они у него серебристыми. Он очки на нос надел и составил.

— Ну?

— ...и вам бы потребовалось вставить в книжку мерзавца, — уважительным голосом прошептала Ольга.

— Подлеца?

— Ага, — Ольгин голос задрожал. — Каким бы вы его сделали внешне?

— Я бы сделал таким... пожалуй, немного усталым.

— Усталым?

— Ну да. У мерзавцев трудная жизнь.

— А внешне?

— Я бы сделал его остроумным. Если подлость не остроумна, она беспомощна. Я бы сделал его обходительным, энергичным и вежливым, кстати. Иначе его слишком легко было бы распознать.

— Я про внешность спрашивала.

— Это и есть внешность.

Они помолчали немного. Ольга дожевала бутерброд, страхнула крошки с колен.

— Я бы не опоздала к началу занятий, — сказала она. — Но у нас на островах не было погоды. Пурга была. Самолеты не летали... Завтра я приду в школу. Учитель поставит меня у доски перед всеми ребятами.

Расскажет им, кто я, откуда. А я буду смотреть в класс и буду видеть, как ребята перешептываются. Буду читать по губам слово «рыжая». Потом кто-нибудь самый смелый скажет громко: «Рыжая!» Класс засмеется. Учитель и я покраснеем, нам станет неловко за чужую глупость. . . Зачем, а? Почему так?

— Напрасно ты беспокоишься, — грустно сказал ей шут. — Ничего этого не случится. — Ты ведь теперь не рыжая. Ты теперь черная.

Ольга провела рукой по волосам и бросилась к ступеням, которые уходили к реке.

— Куда ты? — крикнул шут, в этом крике его прозвучала тревога. Он быстро поправил фуражку на голове. — А ну, прекратить!

— Да я волосы вымою, — ответила Ольга снизу. — Пусть другие говорят, что они не рыжие. А я рыжая.

— На, возьми полотенце. — Шут достал из кармана полотенце, бросил его вниз и ушел.

Воробьи прилетели крошки клевать. Они разодрались, как водится. И, как водится, не успели попить в свое удовольствие: к паряпету подошли два бородатых парня с рюкзаками и подвесным мотором «Москва». Они сложили рюкзаки и мотор на траву возле кустов.

— Когда она обещала прийти? — спросил парень, у которого росла черная борода.

— В семь, — ответил другой, с бородкой разноцветной.

Парни уселись на паряпет. Одежда у них потертая, будто прошагали они тысячу километров. Косынки на шее, как у туристов сейчас полагается, и шляпы на голове. Кроме всего прочего, была у парней гитара. Парни запели туристскую песню, подыгрывая себе на гитаре.

Спели.

Чернобородый увидел Ольгин свитер на камне.

— Кто-то свитер оставил. — Он взял свитер, помял его. — Шикарный свитер, где бы такой связать? Эй! — крикнул он. — Кто тут свитер оставил?

— Я, — ответила Ольга снизу. — Это мой свитер.

Парни перегнулись через гранит.

— Что ты там брызгаешься в нашей лодке? Не зачерпни воды.

Когда они обернулись, перед ними стоял гражданин в макинтоше. Макинтош на гражданине переливался, менял окраску из зеленой в фиолетовую, как спинка жука. И шарф и шляпа у гражданина были разноцветными и не впопад.

— Прекрасная осень, — сказал гражданин. — Люблю этот старинный парк. Поэзия... Извините, но я не понимаю, зачем вам, молодым людям, бороды? Зачем вам уродовать ваше лицо?

— Вы сегодня трехсотый, — сказал гражданину пестробородый парень.

— Не понимаю.

— Мало понять — важно почувствовать. Пока мы не отрастили бород, мы даже и не подозревали, как густо мир заселен парикмахерами. Вы как бреете, с мылом или без мыла?

— Да я сторонник прогресса.

Парни захохотали.

— Над чем смеетесь? — спросил гражданин протестующим голосом.

— Просто так.

— Для души.

— Просто так не смеются. Смеются всегда над чем-нибудь или над кем-нибудь. Над чем вы смеялись?

— Ну, просто так.

— Для души.

— Допустим. Но и просто так нельзя. Смех всегда подозрителен. — Гражданин оглядел себя, даже умудрился себе на спину поглядеть. — Ничего нет смешного.

— Конечно, — сказал ему парень с разноцветной растительностью. — Вы элегантно, как торшер.

Гражданин отпустил ему терпеливую вежливую улыбку.

— Я человек широких взглядов, но ведь существуют общие эстетические нормы. Зачем вам эта растительность на подбородке? Вы под кого? Под Сурикова или под Хемингуэя?

— Мы просто так.

— Для души.

— Своеобразие от недомыслия. Самобытность от неумения вести себя в обществе. А ведь еще Антон Павлович Чехов говорил на эту тему...

— Поцелуйте вашу милую кошечку Розу, — сказал ему чернобородый.

— Не забудьте полить ваш любимый кактус, — сказал ему пестробородый.

— Я от вас этого не ожидал. А еще образованные. — Элегантный гражданин отошел. Ему, наверное, очень хотелось уйти совсем, но что-то удерживало его, что-то невысказанное. — Бескультурие, — сказал он. — Деревенщина в шляпах!

Парень с разноцветной бородой улыбнулся и, надеясь вернуть разговор в русло поэзии, протянул гражданину руку.

— Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает.

— Неандертальцы! — закричал гражданин петушиным криком. Поправил сбившийся галстук и ушел, презрительно и гневно выпрямив спину.

— Этот не умрет — культурен до упора. — Чернобородый сплюнул. — Павлин!

За его спиной послышался смех. Над парапетом торчала Ольга. Волосы ее горели осенним пламенем. Ольга смеялась, била кулаком по граниту.

— Да здравствует солнце, да скроется тьма! — сказал ей чернобородый.

— Чего смеешься? Смех всегда подозрителен, — сказал другой.

— И вас дразнят. — Ольга залезла на парапет. Уселась между парнями. — И меня дразнят.

— Нас не дразнят. Нам просто не доверяют.

Ольга провела по голове расческой. Волосы ее подсохли и теперь сияли под солнцем.

— Я думала, мне плохо, — а вам еще хуже. Вы бородатые, я рыжая. Вот встретились... А этот мужчина дальтоник. Он не различает красок.

Парни захохотали.

— Павлин-дальтоник...

Ольга прыгнула с парапета. Надела свитер. Поежилась.

— Хорошо, что я вас встретила. Теперь мне будет гораздо легче. Почему, а? Я знаю, что смеются не только надо мной одной — и мне легче. А вы не великие люди?

— Нет пока. Но мы постараемся, — серьезно ответил ей парень с разноцветной растительностью.

— Постарайтесь, а то вам житья не дадут. Бороды

разрешаются только великим. — Вдруг Ольга потускнела и сникла. — Хотя что вам, вы можете бороды сбрить.

— Что ты! Слово даем!

— Мы уже столько вытерпели. Мы теперь как булат.

— Я тоже не стану расстраиваться, — развеселилась Ольга. — Это зачем же я должна расстраиваться из-за дураков?

— Ты уже почти гениальная, — сказал ей чернородый.

— Смейтесь, я не обижусь. Я рыжая, вы бородатые. Нам бы сюда еще лысого. Полный набор.

Прямо к ним по дорожке шагал подвыпивший старикан с продуктовой сумкой. Он остановился, хихикнул.

— Р-рыженькая... — Сделал из пальцев козу, пощекотал Ольгу и еще хихикнул: — Рыжик! — Потом он оглядел парней и насупился.

— Папаша, вы, конечно, культурный человек, — торопливо сказал ему парень с разноцветной бородой. — Мы вас очень уважаем, папаша. Не нужно нас разочаровывать. Не надо. Мы все знаем. Мы исправимся.

— Я ч-человек к-культурный. Я к к-культуре всю жизнь стремлюсь и приближаюсь. — Старикан сделал строгие глаза, скомандовал: — Обрить! Наголо!

Парень с разноцветной бородой отвел старика в сторону.

— Идите, папаша, отдыхайте. Дома вас старушка ждет, пирогов напекла с яблоками.

— Напекла? — спросил старикан недоверчиво. — Точно знаешь? Старуха меня уважает. И я ее уважаю. Сонюшка, я иду-у!.. — заорал он нараспев. Потом подмигнул и спросил хитро: — Ребятюшки, а зачем вам эти бороды проклятые? Вы же русские люди, зачем вам волосья жевать? А может, вы не русские? Может, скрываетесь? А ну, покажь документы!

Парень с разноцветной бородой снова обхватил старика за плечи.

— А чего ты мне сказать не даешь? Отпусти меня, я сказать желаю. Требую разговора! Ребятюшки, вы же советские люди. Зачем вам эта гадость на подбородке?

— Дураков считать, — угрюмо сказал чернородый.

Старик хихикнул, кашлянул.

— Молодец, сынок. Люблю молодцов. Я молодой был — проворный... Погоди, это ты кого дураком на-

звал? Ага, пьяного обидели. Я вам в папаши годен, а вы обижать. Советская молодежь... «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» — запел он строго и величественно, отчего задрожал весь. Потом плюнул себе на подбородок, утерся и сказал: — Тьфу на вас.

— Вы, папаша, не плюйтесь, вы прямо кулаком действуйте, — посоветовал ему чернобородый. — Прямо в зубы.

— Э-э, не обманешь. Нынче народ не тот — ему в морду дашь, а он драться лезет. Сбрейте, а? — старик повесил сумку на сучок, снял пиджак, сложил его аккуратно, оправил рубашку под ремнем, выпятил грудь и рукой взмахнул: — Я что сказал?! — закричал он. — Развелось всяких рыжих и бородатых. — И заплакал: — Сбрейте, а? Дайте мне сто лет прожить.

— Пожалуйста, — сказал парень с бородой разноцветной. — Мы подарим вам вечность. Нам, папаша, не жалко.

— Ау-у! О ля-ля! Где вы? — на дорожку выбежала запыхавшаяся девушка в джинсах.

— Поехали! — она увидела Ольгу, сказала: — Абрикосинка, подосиновик, наступция!

И не успела Ольга ответить, девушка уже командовала:

— Пошевеливайтесь, до нуля остались мгновения... Не мешкайте, бородатые. Обленились тут без меня.

Парни подхватили рюкзак и мотор.

— Куда ж вы, сынки? — обиженно спросил старик. — И не поговорили как следует...

Снизу, с воды, раздался хохот, загремели уключины. Звук весел пошел по воде, удаляясь.

— А может, всех бородатых в застенки? А может, всех бородатых на каторгу? И наголо! — бормотал старик в неуверенности.

Ольга от него отвернулась.

Старик пиджак свой поднял, почистил.

— «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» — запел он. — Слушай мою команду! Обрить! Наголо!

Когда Ольга обернулась, старик сказал ей:

— Умные? Им кажется, что они выше? А почему они выше? Потому что стоят у нас на плечах. Хамье! — и запел нежно: — Сонюшка, я иду-у... — и пошел сквозь кусты.

— Я знаю, что я теперь буду делать, — сказала Ольга. — Я теперь буду смеяться.

Мимо нее по дорожке шла сиреневая женщина с заграничным портфельчиком. Вслед за женщиной, словно на поводке, торопилась девчонка с черными волосами, та самая девчонка, которая, конечно, покрасивее Ольги.

— Вы только на меня посмотрите, — говорила эта девчонка. — Я для вас в самый раз.

— Я на тебя уже посмотрела.

— Я сниматься хочу.

— Все хотят.

— А я больше всех хочу. Я три года перед зеркалом упражнялась.

— Все упражняются. И не морочь ты мне голову.

— Я умею петь басом. — Девчонка запела на непонятном языке с восточным акцентом. И заплясала. И так увлеклась, что не заметила даже, как женщина скрылась.

— Тьфу! — сказала она, обнаружив побег. — Стоило глотку портить. Строит из себя режиссершу, а сама ассистентка. Что она понимает! Уж если я им не нравлюсь, тогда понятно, почему нет хороших картин.

Ольга вскочила на парапет.

— Ничего тебе не понятно. Черная ты ворона. Бутылка из-под чернил! Кривляка! Ну, что уставилась? — Ольга принялась петь, кстати, тоже на непонятном языке, и плясать. — Подумаешь, — сказала она, отдуваясь. — Так петь и плясать все могут, только стесняются. Еще перед зеркалом упражнялась три года. Не могла это время на дело потратить. Черная ночь ты. Копоты!

Девчонка попятилась. Ольга соскочила с парапета, взмахнула руками.

— Кар-rrr! Ты в зеркало не видела, какая ты уродина? Ты посмотри и умри от досады. Я сейчас прысну!

Девчонка вскрикнула и пустилась бежать.

— Наповал! — сказала Ольга. Посмотрела вокруг, в глазах ее сверкнул боевой огонь.

— Берегитесь, — сказала она. — Я буду смеяться над всеми!



КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Вечер приблизился к городу, он развел темные краски на площадях и на улицах. На другом берегу реки дома тесно прижались друг к другу, как заговорщики. Ветер утих.

Из парка на набережную вышла Ольга. Увидала шута (дядю Шуру), обрадовалась. Шут стоял с букетом цветов, важный и бледный.

— Дядя Шура! — крикнула Ольга.

Шут вздрогнул, поморщился от досады.

— Опять ты? Могу я иметь личную жизнь?

Ольга засмеялась.

— Чего ты смеешься? Не смейся.

Ольга уселась рядом.

— Дядя Шура, у вас глупый вид. Ха-ха-ха. Ну до чего же у вас глупый вид.

— Перестань хохотать, — сказал ей шут (дядя Шура). — Это тебя не касается, какой у меня вид.

— Как же... Вы, наверно, влюбились. У нас один мальчишка влюбился, глупец несчастный; он был в шестом классе, а эта девчонка (и выбрал-то конопатую) — в пятом. Так он специально на второй год в шестом остался сидеть, чтобы вместе с ней учиться. И думал еще, что подвиг сделал, а она на него — ноль внимания, все время второгодником называла. Тогда он пошел к директору и его в седьмой перевели с испытательным сроком. А он взял и отличником стал и на эту девчонку ноль внимания. Потеха. Комедия... Дядя Шура, вы элегантны, как торшер.

Шут посмотрел на Ольгу печальными глазами.

— Иди-ка ты лучше домой.

— А что, и смеяться нельзя? — спросила Ольга.

— Смейся, — сказал ей шут.

— Ну и буду. Я теперь решила так жить. Я теперь над всеми буду смеяться. Я теперь всем покажу.

— Смейся, — сказал шут (дядя Шура). — Показывай.

— Сейчас. — Ольга огляделась.

По набережной гуляли люди — воскресенье было. Прямо к ним шел Тимоша. Он смотрел на Ольгу большими глазами.

— Ага, — Ольга заерзала от нетерпения. — Иди, иди. Ну, подходи поближе... — Голос ее стал мягким и сладким, как пастила.

Тимоша подошел, облокотился на парапет.

— Хорошо, что я тебя разыскал.

— Это просто отлично, даже прекрасно, — сказала Ольга. — Дорогой Тимоша. Юрик!

Тимоша помигал немногим.

— Ты на нас не сердись...

Ольга перебила его.

— Что это у тебя с носом?

— А что? — Тимоша потрогал свой нос.

— Он же у тебя как огурец. Ты, когда чай пьешь, лимон носом давишь. А уши! Уши — как у слона. Ты, когда спишь, ушами глаза закрываешь.

Тимоша слегка отодвинулся.

— Ну, ты даешь, ну, я пошел.

— Иди, иди. — Ольга ему улыбнулась. — Иди червяков копай. Носатый крот. Неудачный потомок слона. Червячный спекулянт. Лопухий щенок. Ушастый головастик. Боевая киса-мяу. Шестью шесть!

Тимоша сжал кулаки, пододвинулся к Ольге и, не зная, как ему поступить, спросил дядю Шуру:

— Что с ней?

Дядя Шура пожал плечами.

Тимоша снова уставился на Ольгу.

— Неужели? — прошептал он. — Ой-ей-ей... Может, ты пить хочешь? Я сейчас. Я тебе принесу лимонаду. — Он оглядывался на бегу и сокрушенно качал головой.

Ольга откашлялась.

— Вот балбес. Он что, не понимает, что я над ним смеюсь? Бывают такие, которые не понимают.

— Смейся, смейся, — сказал дядя Шура. — Показывай. Над товарищами смеяться легче всего. На крайний случай, их можно обвинить в отсутствии чувства юмора.

— Какой он товарищ. Все они только и думают, как бы меня побольнее боднуть.

Как раз в этот момент мимо них проходил гражданин в макинтоше. Он остановился напротив шута (дяди Шуры).

— Здравствуйте, — сказала Ольга. — Вы еще не поправились? Вы меня узнали?

— Здравствуй, дитё, — ответил ей гражданин. — Во-первых, я никогда не болел. Во-вторых, я тебя, конечно, узнал. Мне это легко дается. Хотя я лично и не имею детей, но все дети мира — мои дети. Цветы жизни... Гражданин потянул носом.

— Аромат. — Он наклонился к дяди-Шуриному букету. — Разрешите насладиться? Прекрасные эфиры. Дары природы. — Он посмотрел величественным взглядом вдаль. — Да, ничего не скажешь — наша река одна из красивейших городских рек мира. Не правда ли, в этом понятии есть какая-то глубина.

— И ширина, — пискнула Ольга.
— И ширина, — согласился мужчина.
— И длина, — пискнула Ольга.
— И длина, — спокойно и терпеливо согласился мужчина. — А между прочим, вы ведь прохожих ногами мараете. Вы уже не дети, чтобы сидеть верхом на парапете.
— А где нужно сидеть? На тротуаре? — спросила Ольга.

Гражданин улыбнулся ей.

— Я терпелив. Дома сидеть нужно. Изучать классику высочайших умов.

На реке печально прокричал буксир, и, словно эхо, откликнулся ему другой голос:

— Сынки-и, где вы-ы? Уплыли! — На набережную вылез подвыпивший старикан с продуктовой сумкой. — Сынки-и, я вас простил. Мне с вами поговорить желательно. Я без разговора болею... — Старикан увидел Ольгу — обрадовался. Сделал из пальцев козу. — Рыженькая. Забодаю, забодаю. Рыжичек, я их простил, а они уплыли. Я им в папаши годен, в деды. А может быть, наголо? — Старик махнул рукой, словно у него в руке была сабля. — Всех — наголо!

— А вы не кричите, — сказал ему гражданин в макинтоше. — Люди любят красоту нашего прекрасного города, а вы кричите.

Старикан приподнял свою сумку.

— Наклонись, милый. У меня в этой сумке два утюга лежат. Я тебе дам по кумполу, ты и расколешься, как арбуз.

— Что?! — Гражданин в макинтоше голос повысил. — Вы, простите, ихтиозавр.

— А ты-то? Верблюд нестриженный. Павлин!

— Старое чудовище!

— Чертополох мокрый. Горшок с букетом.

— Ха-ха-ха, — сказала Ольга. — Я прысну.

Шут (дядя Шура) вытащил милиционерский свисток. Свистнул, призывая к порядку. Гражданин в макинтоше и старикан разом повернулись.

— Мы ничего, — сказал старикан. — Мы вот встретились. — Старикан обнял макинтоша. — Здравствуй, друг Петя!

— То есть как это — ничего? Сначала обзывает, а потом ничего? Я вам не Петя!

Старикан посмотрел на него с презрением. Обнял шута (дядю Шуру).

— Действий не было. Нецензурщины — не дай бог. Сынок, закон не нарушен!.. Георгинчик! — сказал он гражданину и пошел, потряхивая сумкой. — Сонюшка, я иду-у!..

Гражданин в макинтоше приподнял свою модную шляпу.

— Извините, закон действительно не нарушен. Не смею мешать. Я все понимаю. Вы на посту. — И он удалился на цыпочках, чтобы ни звука, ни шороха.

— Смейся, ты хотела смеяться, — сказал Ольге шут.

— Сейчас, — Ольга прокашлялась.

Прибежал Тимоша с бутылкой.

— На, попей лимонаду.

Ольга взяла у него лимонад, отпила глоток. Вдохнула свежего воздуха, который, как и подобает, немножко припахивал нефтью.

— У тебя что, никакого самолюбия нет? И ты не обиделся? Серый ты, как туман.

Тимоша крепился, хотя видно было по всему, что это дело дается ему с трудом.

— Что ж на тебя обижаться. Смешно на тебя обижаться. Мне тебя очень жаль.

— Это почему тебе меня жаль? — воскликнула Ольга. — Это зачем?

— Что я, не человек? Что, у меня сердца нет? Ты не волнуйся, тебе вредно волноваться. Хочешь, я тебе мороженое принесу?

Ольга повернулась к шуту (дяде Шуру).

— Чего он ко мне лезет с нежностями? Он что, с ума сошел?

— Ты не волнуйся, ты не волнуйся, — сказал Тимоша.

Ольга уставилась перед собой, окончательно сбита с толку.

— Дядя Шура, что происходит? Может, он принимает меня за сумасшедшую? Асфальтовая голова. Зоопарк в одном лице.

— Смейся, — сказал ей шут.

Тимоша тронул его за локоть.

— Вы «Скорую помощь» вызвали? — Он спросил это шепотом, но Ольга услышала.

— С чего это ты придумал? Зачем «Скорую помощь»? Я не больная.

— А чего ты кричишь, как сумасшедшая? — озлился Тимоша. — Чего ты говорила, что у меня глаза уши закрывают?

Ольга сложила руки на коленях, сгорбилась.

— Так, значит, над тобой смеяться нельзя?

— А чего надо мной смеяться? Уши у меня как уши, как у всех людей. Нос как нос. Голова как голова, как у всех головы.

— И у меня волосы как волосы! Как у всех, волосы. Видели, дядя Шура, лучше быть сумасшедшей, чем рыжей. Сумасшедшей почтение, и ласковое обхождение, и лимонад. — Она бросила бутылку в реку и захохотала. Смеялась она сухим неестественным смехом, похожим на плач. Что-то ломалось в этом смехе, стонало и вот-вот должно было рухнуть. — Юрик, я сумасшедшая! Живо за лимонадом! Ха-ха-ха...

В шорохе, в треске нейлона возникла возле них сиреневая женщина с заграничным портфельчиком в клетку.

— Прелесть! Находка! Ты думаешь, это легко? Напрасно ты так думаешь, — сказала она полным восхищения и усталости голосом. — А глаза! Какие глаза. Крупным планом. Все будут в восторге.

Ольга отодвинулась от нее.

— Что с вами?

— Вы, наверно, побывали на юге и перегрелись, — сказал Тимоша.

Женщина не обратила внимания на эти слова. Она смотрела на Ольгу, как смотрят художники на еще не законченное полотно.

— Ты нам подходишь. Роль прямо для тебя написана. — Женщина спохватилась, объяснила: — Я с киностудии. Мы тебя будем пробовать. Ты рада?

— Ужасно рада, — сказала Ольга. — Я вся в восторге. Я умею петь басом. — Ольга запела: — Ля-лям-ля-лям, ля-ли-ля-лям...

Женщина остановила ее:

— Это детали... — И заговорила так, словно перед ней был еще некто и к этому некто она обращала свои слова: — Представьте себе, умная девочка, одаренная, смелая. В силу этих перечисленных качеств она всех

презирает, даже мальчика, в которого влюблена. Трагично. Как ты находишь? — спросила она у Тимоши.

— Я в этом не понимаю, — сказал Тимоша.

— Я сяду. Я так устала. — Женщина уселась на парапет. — Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек — с ума сойти... Итак, в своем тщеславии наша героиня пытается встать над обществом. Ничего не прощая, взыскательная и надменная, поднимается наша героиня к своему неизбежному краху. Ее ненавидит весь класс, ненавидит вся школа. Но ничего не могут с ней поделать. Все хлопочут вокруг нее одной. А что поделать? Она хорошо учится. Выгонять из школы нельзя. А как быть? Поэтому крах у нее будет моральный.

— Ну, вы даете, — сказал Тимоша. — Таких не бывает. Такую бы в два счета приземлили.

— Ничего не понимает, — сказала Ольга и улыбнулась женщине. Потом она строго посмотрела на Тимошу. — Ну, что ты можешь понимать, ты, серый, как туман?

— Да, да, конечно. Хорошая фраза. — Женщина посмотрела на Ольгу и слегка от нее отодвинулась. — Эту фразу мы впишем в сценарий. Ты ее сама придумала? Голова кругом. «И мальчики кровавые в глазах...»

Ольга кивнула:

— Сама.

Тимоша сжал кулаки.

— Шестью шесть, — сказала Ольга.

Тимоша сжал кулаки еще крепче.

— Зоопарк в одном лице, — сказала Ольга. — Ну, ударь, ударь. Я теперь актриса, я теперь на вас чи-хаю. — Ольга захохотала, а когда отсмеялась, спросила у женщины: — Хотите, я научу вас сводить бородавки?

— Но у меня нет бородавок, — сказала женщина.

Ольга оглядела ее с головы до ног.

— Как мне вас жаль. Ничего-то у вас нет: ни красоты, ни вкуса, ни такта, ни даже бородавок.

Женщина еще дальше отодвинулась от Ольги. Поежилась.

— М-да, — сказала она. — Находка, нечего сказать. — И кисло добавила: — Прелестно, этот текст мы впишем в сценарий. В жизни не соглашусь работать на детской картине. Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек — и все поют басом. Повальное бедствие.

— Не хочу я сниматься, — сказала Ольга тоскливым, затравленным голосом. — Оставьте меня в покое.

— Ай, не морочь ты мне голову. Ты нам подходишь. Я за тобой уже целый час наблюдаю.

— Вы считаете такой срок достаточным? — спросил шут (дядя Шура).

— А вы кто такой, чтобы интересоваться?

Шут достал из-за парапета милиционерскую фуражку. Надел ее на голову. Сиреневая женщина посмотрела на него долгим, сожалеющим взглядом.

— Умоляю. Я видела фильмы о милиционерах. Довольно плохие. Но фильма, сделанного милиционером, не видела, даже плохого.

Шут (дядя Шура) развел руками.

Ольга резко повернулась к женщине.

— Вы всерьез думаете, что я мерзавка? Я не такая!

— Какая разница, такая ты или не такая. Не такая — научим. Важны задатки. Чтоб я еще пошла работать на детскую картину!

— А кто вас заставляет? — спросил Тимоша.

— А ты молчи, боевая киса-мя. Зоопарк в одном лице.

Тимоша снова сжал кулаки.

Женщина вытащила из сумки открытку.

— Возьми. Здесь написан наш адрес и мое имя. Покажешь на проходной. Я тебя жду. Я уверена, мы полюбим друг друга. — Женщина погладила Ольгу по щеке. Пошла сгорбившись.

Дядя Шура отобрал у Ольги открытку, разорвал ее и бросил клочки в воду.

— А я, может быть, славы хочу, — вяло возразила Ольга.

— Хватит. Прославилась.

— Не хватит! — крикнула Ольга.

— Не кричи. Я взываю к твоему рассудку. Короче — к уму.

— Это самое легкое! Когда нельзя воззвать к рассудку того, кто виноват, взывают к рассудку того, кто прав. Почему, когда один обидел другого, обиженному говорят: прости его, ты должен быть умнее? Почему обиженные всегда должны быть умнее обидчиков? Почему умному всегда говорят — уступи? Почему дуракам и хамам такая привилегия?

— Почему? — угрюмо спросил Тимоша.

Шут (дядя Шура) снял фуражку, лоб вытер носовым платком. Открыл рот, и изо рта у него стали вылезать шарики — розовенькие, голубенькие, зелененькие, лимонные, ясененькие, — короче говоря, разноцветные шарики.

— Не знаете, — грустно сказала Ольга.

— Эй! — раздался крик. — Эй, где вы?! — На набережную вылетели Аркашка с Ольгиным нерпичьим портфелем и Боба. — Вот вы где. Мы запарились. Мы весь парк обегали.

Ольга взяла у Аркашки портфель.

Аркашка старательно дышал, обогащая свою загнанную кровь кислородом.

Он отдышался наконец. Стащил Ольгу с парашюта.

— Прячься быстрее. Сюда бабушки мчатся. Три квартала висели у меня на пятках. В парке я их сбросил со следа. Они сейчас здесь будут, зуб даю — у моей бабушки нюх чувствительный.

— Дядя Шура, спрячь меня, — попросила Ольга.

Дядя Шура открыл дверь будки. В этой будке некогда стоял милиционер-регулировщик, но повесили над перекрестком светофор-автомат — и регулировщик оказался ненужным. Будку оставили на всякий случай; вдруг автомат испортится.

Первой на набережную выбежала старуха Маша, за нею — старуха Даша. Они подозрительно оглядели компанию.

— Кто ее видел?

— Куда она делась?

— Шурка, отвечай, ты ее схватил? — спросила старуха Маша и, не дав времени шути на ответ, заголосола: — Вся в рыжую Марфу! Родная бабка лежит под уколом, валерьяновку стаканами пьет. А она гуляет. Она обиделась. У нее нервы. Где она?

— Я сказал — топиться пошла, — ответил за всех Аркашка.

— А я тебя за ухо.

Аркашка безучастно подставил голову.

— Отрывайте, все равно когда-нибудь оторвете.

Боба вступил в игру печально возвышенный, закатив глаза к небу.

— Она утопилась. Она действительно утопилась.

Встала на парапет. Руки вот так. Сказала: «Я всех прощаю, всех, всех». Потом сказала: «Прощайте, природа и небо, одни только вы меня понимали». И бултых...

— Господи, воля твоя! — старуха Маша перекрестилась. Спину выпрямила и заговорила грустным возвышенным голосом: — Что же мы Клаше-то скажем?.. Такая хорошенькая, славная такая. А уж вежливая, а уж воспитанная. Умница. А какие у нее волосики были чудесные. Я таких отродясь никогда не видела, как огонек...

— И ты не бросился ее спасать, такую девчонку? — тихо спросила Бобу старая дворничиха.

— Я не мог. Я простуженный. — Боба закашлялся хрипло и засипел: — У меня катар.

— А ты? Ты почему не прыгнул? — спросила дворничиха у Тимоши.

— Я? Вы меня спрашиваете?

— Бестолковый! Тебя, а то кого же?

— Я? Почему я не прыгнул? — Тимоша не сразу нашелся. — На меня столбняк напал. Я вроде окаменел. Вот так, — Тимоша выпрямился, нижняя челюсть у него на минуточку отвалилась.

Дворничиха засмеялась, на него глядя, но вдруг сморщилась вся и заплакала.

— Ты что? — старуха Маша бросилась к подруге, принялась тормошить ее, утешать. — Что ты, что ты, Даша? Ты никак плачешь? Если уж Даша заплакала, — значит, в самом деле что-то серьезное произошло, — сказала она и снова принялась тормошить и утешать подругу. — Даша, не плачь. Ну, Даша. Такая девчонка была. Абрикосинка наша-а-а!..

Плакала Маша.

Плакала Даша.

— Такая девчонка была... За такую девчонку не только в воду, в огонь можно прыгнуть. А они, видишь, простуженные, в столбняке. Лоботрясы. Я бы на их-то месте в такую девчонку влюбилась по гроб жизни.

— Спокойно, тетя Даша, спокойно, — остановил ее шут. — Это другая тема. Сегодня мы ее не касаемся.

— Про любовь в твоём театре нельзя, — вздохнула дворничиха. — Говори, куда ты дел Ольгу? Ее бабка в постели лежит, в ожидании инфаркта, мы по городу бегаем на больных ногах. Куда ты ее дел?

— Куда ты ее дел? Говори, Шурка, — поддакнула старуха Маша.

— Никуда, — ответил шут. — Она домой поехала.

— Врешь ведь.

— Точно. Взяла такси и поехала. Все видели.

Старая дворничиха оглядела всех. Все смотрели на нее искренними, правдивыми глазами.

— У, мазурики!

— Аркадий, пойдем. Пойдем, внучек.

Аркашка увернулся от ласковой руки своей бабушки.

— Чего это ты от бабушки бегаешь? — изумилась старуха Маша и, увидев, что старая дворничиха уже направилась уходить, крикнула ей: — Даша, ну куда ты? Раз она живая, можно не торопиться. — И тут же ловко ухватила зазевавшегося Аркашку за ухо — даже вазелин не помог. — Домой, — прошептала она сладострастно, — за рояль!

Аркашка вопил:

— Отпусти ухо! Я этого не потерплю.

— Потерпишь. Мы и не такое терпели, и ты потерпишь. Нас родители вожжами учили поперек спины — мы молчали. А вас за ухо тронешь — вы в крик. Щепетильные шибко.

Когда она уволокла Аркашку, Ольга вылезла из будки регулировщика.

— Я и не знала, что я такая хорошая, — сказала она. — Как странно. Это зачем, дядя Шура?

— Не задавай вопросов, — тема исчерпана, — сказал ей шут.

— Но... — сунулся Боба.

Шут (дядя Шура) милиционерскую фуражку надел и в милиционерский свисток засвистел.

— Пр-рекратить!

По свистку остановилась проходившая мимо «Волга». Таксист подбежал к дяде Шуру.

— Нарушил, товарищ начальник. Я понимаю. Осознаю. Нарушил.

— По-моему, вы ехали как положено.

— Шутите. Ха-ха-ха! Милиция всегда права. Милиция не останавливает тех, кто правильно ездит. Клянусь, больше не повторится. Не везет мне. Кругом не везет.

Таксист сказал шуту на ухо:

— Фиаско. Пардон, я вас и в этой красивой фуражке

узнал. И я вам скажу — фиаско. Я ей, простите, предложение сделал.

— Согласилась? — нервно поинтересовался дядя Шура.

Таксист посмотрел на него понимающе.

— Я же говорю: фиаско. Поясняю: наотрез отказала.

Дядя Шура вздохнул облегченно, лоб платком вытер, достал из-за парапета свой красивый букет.

— Отвезите домой эту девочку.

— Эту рыженькую? Какой рыжик, морковочка. А ну, молодые люди, в машину.

— Дядя Шура, оштрафуйте его, — попросила Ольга.

— Поедем, морковочка. Штрафы, рыженькая, не твое дело.

— Дядя Шура, оштрафуйте его хоть совсем не много. Хоть на десять копеек, — попросила Ольга.

Таксист взял ее и понес. И когда машина отъехала, шут снял с головы фуражку.

— Что я могу поделать, если нет такого закона, по которому бы штрафовали за слово «РЫЖИЙ».

Девушка-продавщица бежала по набережной. Она махала рукой дяде Шура и улыбалась.

Шут (дядя Шура) быстро фуражку спрятал, с гранитного парапета букет цветов взял, девушке навстречу шагнул, сам себе нечаянно на ногу наступил и упал — растянулся. Рассыпались цветы. Шут сел, сам над собой заплакал. А вокруг смеются.

Все смеются, все, кто участвовал в этой истории. Бабки-старухи смеются, шикарный охотник смеется, гражданин в макинтоше смеется, бородатые парни и девушка в джинсах, старик с продуктовой сумкой смеется. Тимоша, Боба, Аркашка смеются. Ольга тоже.

Шут встал, отряхнулся. Послал девушке-продавщице воздушный поцелуй, — мол, не огорчайся.

Смеются вокруг. А девушка чуть не плачет.

— Не торопитесь смеяться, — грустно сказал шут.

Он вынул из-за пазухи розу, подал ее девушке-продавщице. Роза заполнила обе ее ладони, яркая, жгучая, необыкновенно прекрасная.

— О достойные зрители, — сказал шут, — не торопитесь смеяться...

К о н е ц



ОЖИДАНИЕ

ТРИ ПОВЕСТИ

ОБ ОДНОМ

И ТОМ

ЖЕ





ИМЯ ДЛЯ СЕБЯ

Весна пахнет арбузом. Особенно по утрам.

Земля дышит свежестью сквозь асфальт.

Земля пахнет прорастающими семенами.

Васька вышел во двор, расстегнул верхнюю пуговицу пальто и закричал:

— Вандербуль!

Расстегнул еще одну пуговицу — закричал еще громче:

— Вандербуль!

Ребятам все любопытно: что человек кричит?

— Это что? — спросила девчонка в оранжевой шапке.

— Это я, — сказал Васька. — Это теперь мое новое имя. Я его сам придумал.

Вандербуль увидал кошку. Кошка лежала на ящике, повернув к солнцу белое брюхо.

Он неслышно подкрался к ней и закричал:

— Вандербуль!

Кошка зашипела, прижала к затылку острые уши, завывала и прыгнула в чью-то форточку.

Кто первым чует весну? Кошки. Кошек не проведешь. Они ходят по скользким крышам. Таращатся в небо. Они поджидают птиц, летящих из Африки, но птицы летят высоко, рядом с мокрыми тучами. Кошки тянутся вверх, поднимают когтистые лапы. Жадно стонут, орут и кусают друг друга.

Вандербуль знал все про кошек и про весну.

Когда весна войдет в город, начинается славный шум. Грохочут железные крыши. Палят водосточные трубы. Прямо в прохожих ледяными снарядами.

Лужи вокруг. Брызги.

Когда весна пообсохнет, небо станет далеким и синим. В стеклах зажжется радуга.

Теплынь!

Вандербуль расстегнул все пуговицы на пальто. Засунул руки в карманы штанов и, грудь колесом, пошел в подворотню.

Вандербулю нравилось новое имя. Старое ему не годилось. Что в нем, в старом? Вась-ка. Словно просачивается и уходит застрявшая в раковине вода. Пусть люди сами придумывают себе имена. Вандер-буль! Словно боевой клич. Славно жить с таким именем.

По улице шли прохожие. Гурьбой. Разноцветными толпами. Весело кашляли и улыбались.

Вандербуль потолкался среди прохожих, хотел закричать свое новое имя, но передумал. Просто подошел к незнакомому гражданину, протянул руку и, радостно глядя ему в глаза, заявил:

— Вандербуль.

Гражданин растерялся, поправил клетчатый шарф.

— Гутен морген, — сказал гражданин. Отойдя шага на три, он спросил сам себя озадаченно: — Черт возьми, может, я чего перепутал?

Вандербуль зашагал дальше — грудь барабаном.

По рельсам катил трамвай. Сопели автобусы. Они неохотно лезли на мост, наверно, мечтали сойти со своих путей и удрать в незнакомые переулки.

Вандербуль помахал им рукой. Свернул с шумной улицы на Крюков канал.

В черной воде с синеватым отливом утонули белые облака.

По шершавым булыжникам бегали голуби, прыгали воробьи.

Возле решетки, на шерботой гранитной плите, сидел безногий мужчина. Он был без пальто. Его кепка лежала на тротуаре. Мужчина смотрел в небо, шурился и почесывал щеку. Сидит человек — один-одинешенек. Вандербуль потоптался в сторонке, потом боком, по-воробыному, подошел к инвалиду.

На пиджаке у мужчины, возле лацкана, темнело пятно в форме звезды. Посередине пятна Вандербуль разглядел дырочку.

Мужчина шевельнулся, сел поудобнее, скосил на Вандербуля глаза. Вандербуль улыбнулся ему. Для храбрости хлюпнул отсыревшим носом и протянул руку:

— Вандербуль.

Мужчина одним пальцем опустил его руку.

— Подходяще. А я вот на облака люблюсь. Красота. Иные — как звери. Иные — как корабли.

Вандербуль осмелел, пододвинулся ближе.

— Такая сказка есть, — сообщил он. — Знаете? Это было давно, когда придумали самолет. Изобретатель придумал и показал королю. Тогда всё королям показывали. Королю очень понравился самолет. Он даже эрзал от радости на своем золотом стуле и закричал: «Летчиков в небо! Пускай летают над моим дворцом, составляют из облаков мое имя. Я и придворные будем любоваться с балкона».

Рассказывая, Вандербуль сел рядом с мужчиной, прямо перед кепкой, в которой желтела медь.

— Летчики погибли? — спросил мужчина.

— Погибли. Запутались в облаках и столкнулись друг с другом. Тогда самолеты были некрепкие.

Мужчина засмеялся, уставился на голубей.

— Всегда так, — сказал он. — Наверно, этот король закидывал.

— Что? — спросил Вандербуль.

— За воротник, — ответил мужчина.

Вандербуль ничего не понял, но ведь короли всегда

делают странные вещи. И, чтобы не показаться глупым, Вандербуль сказал:

— Наверно, закидывал. Я у отца спрошу.

Голуби подходили близко, в сизых мундирах, в красных штанах. Толстые, важные. Воробьи дрались в промоинах, крали у голубей корм и — фр-ррр! — летели над Вандербулевой головой.

Мужчина пятерней почесал ногу, обернутую штаниной выше колена. Вандербулю стало холодно вдруг. Со-держимое Вандербулева носа жалобно выкатилось наружу. Он потрогал темное пятно у мужчины на пиджаке, которое имело форму звезды, и спросил тихо:

— Это у вас от ордена?

Мужчина посмотрел на пиджак.

— Что?

— Это у вас орден висел?

— Ну, орден.

— Вы его отвинтили?

— Я его в шкаф убрал на самую верхнюю полку и нафталином посыпал.

— Больно было?

— Что больно? — сухо спросил мужчина.

Вандербуль покраснел, ему стало стыдно, что он такой любопытный, но уж очень хотелось узнать про войну.

— Ну, когда вас ранило... — Вандербуль осторожно дотронулся до ноги в подвернутых брюках.

— А-а, — сказал мужчина. — Тебе сколько лет?

— Шесть.

— Большой мужик.

Мимо шли люди в пальто нараспашку. Вандербуль смотрел в их спокойные лица.

— Куда же вы мимо? — спросил он.

Остановился какой-то парень без кепки. Уставился на Вандербуля.

— Мы деньги просим, — объяснил ему Вандербуль.

Парень покраснел, принялся шарить в карманах.

— Мелких нету, — сказал он с тоской.

Вандербуль поднял кепку.

— Это ничего. Давайте, какие есть.

Парень покраснел еще пуще.

— У меня никаких нету, — пробормотал он и замигал от досады.



Мужчина засмеялся:

— Спасибо, братишка... Хочешь, возьми на трамвай.

— Что вы! — попятился парень. — Извините... — И быстро пошел, почти побежал.

Мужчина смотрел ему вслед. Глаза его медленно гасли.

— Пойдем, я тебя мороженым угощу или, хочешь, конфетами.

— Посидим еще. Поговорим лучше про войну, — Вандербуль положил кепку себе на колени. — Вы, наверно, были героем-танкистом.

Мужчина опустил голову, царапнул пятерней небритую щеку и, словно сделав для себя открытие, сказал удивленно:

— Вот какое слово проклятое — «был». Это не твоя мама спешит?..

По набережной бежала Вандербулева мама. Рядом с ней торопилась Людмила Тарасовна, дворник. Они бежали сквозь голубиные стаи.

Вандербуль хотел крикнуть: «Мама, мама, давай! Кто вперед?» — но мама уже схватила его, подняла на руки и так крепко стиснула, словно кто-то чужой и недобрый пытался его отнять.

Кепка упала. По гранитной плите покати́лась чужая медь.

— Разве так можно? — испуганно прошептала мама.

Мужчина приподнялся, посмотрел на маму с усмешкой.

— Подсоби, сестренка, своей трудовой монетой инвалиду, который мог бы стать героем-танкистом.

Мама круто повернулась и побежала к мосту, унося на руках Вандербуля.

— Ты зачем меня несешь? — кричал Вандербуль. — Мы хотели поесть мороженого!

Дворник Людмила Тарасовна следовала за ними со спокойным сознанием выполненного долга. Она оборачивалась, кричала мужчине:

— Бессовестный! Глаза, как у сироты, а кулаки-то, как у разбойника. Вернулся. Ишь рожа красная. Сегодня доложу участковому, что ты опять засел тут.

Придя домой, мама посадила Вандербуля в горячую ванну. Она мылила его хвойным мылом. Терла розовой поролоновой губкой.

— Он герой! — кричал Вандербуль.

Мама молча окунала его с головой в воду. У Вандербуля изо рта вместо гневных слов вылетали мыльные пузыри.

Мама растерла его мохнатым полотенцем. А когда пришел отец, она рассказала ему тихо:

— Понимаешь, он сидел с нищим, выпрашивал деньги.

— Бывает, — сказал отец.

— Нет, ты ему объясни.

Отец пошел в другую комнату — искать своего сына под широким диваном.

А Вандербуль стоял в коридоре. Он рисовал на светлых обоях разрушенный город и танк. Танк горел. От него отползал человек. Человек не мог ползти быстро. Его ноги лежали возле горящего танка. Они были похожи на старые валенки.

— Разве это танк? — услышал он голос позади себя.

За его спиной стоял отец.

Отец взял у него карандаш и по соседству нарисовал другой танк, с могучими гусеницами и длинной пушкой. Такой танк, по мнению Вандербуля, не мог гореть. Он мог только идти вперед от победы к победе.

— Слушай, — сказал отец, — давай поговорим об этом деле.

— А если ему на войне оторвало ноги?

— Это не оправдание.

— Он на войне был героем, у него орден.

— Тем более.

Вандербуль рисовал на обоях пули. Они летели, словно осенние злые мухи.

В коридор вышла мама. Она принесла мягкую резинку, которая называется клячкой. Принялась чистить обои.

— Пусть будет, — сказал ей отец.

— Но мы не одни живем в квартире.

— Моя картина никому не мешает, — сказал Вандербуль.

Отец его поддержал.

— Все равно ее не сотрешь.

Мама увела Вандербуля спать.

Вандербуль ворочался, смотрел в потолок, расчерченный голубыми прямоугольниками.

Отец и мать говорили за дверью. Голос у мамы был беспокойный:

— Ты, кажется, не так ему объяснил. Ты бы ему сказал, что этот человек пьяница и бездельник. Что ноги он потерял... ну, попав под трамвай, что ли.

— Я этого не знаю, — ответил отец. — Ну, успокойся.

«Зачем меня мыли мылом? — думал Вандербуль. — Я ведь вчера купался». Светофор с перекрестка бросал в потолок зеленые, желтые, красные вспышки. Вандербуль смотрел на них, пока ему не стало казаться, что он идет по зеленым, желтым и красным плитам. А вокруг никого. Только жужжат пули и ранят его одна за другой.

На следующее утро мама разбудила Вандербуля, поставила завтрак на стол. Она торопилась на работу и долго прилаживала к новому платью брошку.

— Уберешь со стола и отправляйся гулять. За тобой тетя Лида закроет. Только гуляй во дворе — на улице ветер.

— Ладно, — сказал Вандербуль.

Он убрал со стола. Застегнул пальто на все пуговицы. Соседка тетя Лида осмотрела его и выпустила гулять.

Ребята играли в трехцветный мяч. Он постоял, посмотрел на игру.

— Я тоже придумала себе новое имя, — сказала ему девчонка в оранжевой шапке. — Я буду Люциндра. Есть в деревне такая трава, от нее медом пахнет.

Вандербуля тянуло на улицу.

На горбатый мост, как вчера, вползали трамваи.

Ветер выстроил над домами свой белокрылый флот. Ветер проводил большие маневры. Флотилии облаков шли одна за другой, скрывались за горизонтом крыш, унылым и близким.

На набережной Крюкова канала было пустынно. Вандербуль двинулся вдоль решетки. Вскоре он вышел к Морскому собору. Почему его называют Морским? Может, за голубую с белым окраску? Соборная колокольня стояла отдельно, светила золотым шпилем, как навечно зажженная свечка.

Неподалеку от паперти сидел инвалид. Вместо пиджака на нем была синяя матросская рубаша, на ногах брюки клеш. Черные тихие старушки кидали монеты в мятую бескозырку.

— Большое вам спасибо, мамыши, от искалеченного войной моряка, — говорил инвалид.

«Может быть, одну половину войны он был танки-

стом, другую был моряком», — подумалось Вандербулю. Вандербуль хотел подбежать к инвалиду, поздороваться, но его опередил медленный милицейский майор.

— Ты опять за свое, — сказал майор инвалиду. — Тебя ведь выслали.

Нищий улыбнулся бесстрашно.

— Я в отпуске, гражданин начальник. Могу документ предъявить.

Майор посмотрел документы.

— Ты что же, не нашел отпуску лучшего применения?

— К старому делу тянет. — Мужчина поднялся, сунул под мышку костыль. Увидел Вандербуля. — А тебе чего надо? Чего ты за мной ходишь? Ордена ему подавай. А я во время войны был вот таким шкетом. — Сильным рывком он оттянул книзу ворот тельняшки. — Вот, вся грудь в орденах. Обхохочешься. . .

На заросшей груди были выколоты бабочки, и среди этих бабочек синело мешковатое сердце, проколотое стрелой.

— Нет у него орденов, — холодно сказал майор. — Идите. . . И прикройте пейзаж.

Нищий поправил тельняшку. Пошел не оглядываясь. Майор тоже пошел мимо черных сердитых старушек.

Вандербуль прислонился лбом к холодной решетке соборного сада и долго стоял так.

Дома Вандербуль отыскал мягкую резинку, которая называется клячкой. Резинка вобрала в себя графит, но Вандербуль рисовал так усердно и так сильно надавливал карандашом, что даже стертый рисунок был отчетливо виден. Вандербуль сбил его молотком и даже убрал с пола известку.

ВОЗРАСТ ВЫНОСЛИВЫХ И ТЕРПЕЛИВЫХ

Снова была весна.

С разноцветными тучами — фиолетовыми, красными, бурыми, цвета стального и цвета меди.

Город весной беззащитен. Город прикрывает проре-

хи афишами. А весна льет дожди. Иногда, растолкав тучи, она показывает небо синее и блестящее. Небо пахнет холодным ветром.

Во дворе перемены. Песочником, качелями и трехцветными лакированными мячами завладели другие ребята. Гремя погремушками, колотя в барабаны, на все голоса орущие, лезут они из каждой парадной. Они наступают. Они вытеснили Вандербуля и его ровесников. Они завладели двором.

Четыре года прошло с той весны. Генька, Лешка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девчонка Люциндра и Вандербуль сидели на трансформаторной будке. Они морщили лбы, сосредоточиваясь на единой высокой мысли. Выпячивали подбородки, отяжелевшие от негибимой воли. Они говорили:

— Геракл — это сила.

— Чапаев... Чапаев тоже будь здоров.

На дверях трансформаторной будки череп и кости.

Ромул основал Рим, когда ему было всего двадцать лет. Князь Александр в двадцать лет уже стал Александром Невским. Двадцать лет — это возраст героев. Десять лет — это возраст отважных, выносливых и терпеливых.

Генька, у которого не было клички, дергал носом и кривился.

— Асфальтом воняет, — сказал он, чихнув. — А мне вчера зуб выдрали.

Люциндра скосила на него глаза, отворила рот и засунула туда палец.

— Во, и во, и во... Мне их сколько вырвали.

— Тебе молочные рвали. Молочный зуб в мясе сидит. Настоящий — прямо из кости растет. Иногда даже челюсть лопается, когда настоящий рвут. Я видел, как один военный упал в обморок, когда ему зуб дернули. Подполковник — вся грудь в орденах.

— Я бы не упал. Я еще и не такое терпел, — самозабвенно похвастал Лешка-Хвальба.

— А ты попробуй, — сказала Люциндра.

— Нашла дурака.

Вандербуль глядел в Лешкины выпуклые глаза. Что-то затвердело у него внутри. Все предметы во дворе стали вдруг мельче, отчетливее, они как будто слегка отодвинулись. И Лешка отодвинулся, и Люциндра.

В глазах у Люциндры отражаются Генька и Шурик. Руки у Вандербуля стали легкими и горячими. Такими горячими, что защипало ладони.

— Я вырву, — сказал Вандербуль.

— Ты?

— А неужели ты? — сказал Вандербуль.

Он спрыгнул с трансформаторной будки и, прихрамывая, пошел к подворотне. Ребята посыпались за ним.

В подворотне Генька остановил их.

— Пусть один идет.

— Соврет, — заупрямился Лешка-Хвальба.

Шурик-Простокваша заметил:

— Как же соврет? Если зуб не вырвать, он целым останется.

— Вот похочем, — засмеялся Лешка-Хвальба. — Выставляться перестанет. И чего выставляется?

Вандербуль шел руки за спину, как ходили герои на казнь, до боли сдвинув лопатки. Он ни о чем не думал. Шел почти не дыша, чтобы не растревожить жесткое и, наверно, очень хрупкое чувство решимости.

Когда он скрылся в уличной разноцветной толпе, Лешка-Хвальба подтянул обвислые трикотажные брюки.

— Вернется. Как увидит клещи, так и... — Лешка добавил несколько слов, из которых становится ясно, что делают люди в минуту страха.

Люциндра от него отодвинулась. Сказала:

— Дурак.

— Не груби, — Лешка нацелился дать Люциндре щелчка в лоб.

Генька, у которого не было клички, встал между ними. С Генькой спорить небезопасно — Лешка повернулся к нему спиной.

— Простокваша, пойдем, я тебя обыграю во что-нибудь.

МЕЛКИЙ ДОЖДЬ

Вандербуль шагал вдоль домов. Дождь блестел у него на ресницах. Мелкий дождь — не льется, он прилипает к щекам и к одежде.

Люди вежливы и болезненно самолюбивы. Все-

му виной деликатная мелочь — одежда. Чем дороже одежда, тем обидчивее ее хозяин: жаль себя, жалко денег, жаль надежд, возлагаемых на хороший костюм.

Вандербулю дождь нипочем. Он его даже не замечает, только губы соленые.

Девушки, странный народ, улыбаются ему. Им смешно, что идет он под мелким дождем на подвиг такой отрешенный и светлый.

— Эй!

Вандербуль споткнулся, почувствовал вкус языка.

— Смотри под ноги.

В мокром асфальте перевернутый мир. Человек в люке проверяет телефонные кабели.

И вдруг засветились пятнами лужи, мелкий дождь засверкал и растаял — на землю хлынуло солнце.

— Мороженое! Сливочное, фруктовое...

Вандербуль повернул к больнице.

В сквере пищали и радовались воробьи. На мокрой скамейке, подложив под себя фуражку, сидел ремесленник Аркадий из Вандербулева дома. Рядом, на Аркадиевых учебниках, сидела девчонка.

Вандербуль сел рядом.

— Аркадий, вам зубы рвали? — спросил Вандербуль.

— Зачем? У меня зубы — как шестерни. Я могу ими камень дробить.

Из открытого окна больницы вылетел крик, искореженный болью. Он спугнул воробьев и затих.

— Ой, — прошептала девчонка.

Вандербуль попробовал встать, но колени у него подогнулись.

— Чепуха, — сказал Аркадий. — Меня высоким напряжением ударило — и то ничего. Уже побежали ящик заказывать, а я взял и очухался.

Глаза у девчонки вспыхнули такой нежностью, что Вандербуль покраснел.

— Я пошел, — сказал он. Встал и, чтобы не сесть обратно, уцепился за спинку скамьи.

— Да ты не робей, — подбодрил его Аркадий. — Когда тебе зуб потянут, ты себя за ногу ущипни.

Снова начался мелкий дождь, потек по щекам, как слезы.

— Бедный, — прошептала девчонка.

Девушка в регистратуре читала книгу. Брови у нее двигались в такт с чужими переживаниями, и дергался нос.

Человеку нельзя жить и мечтать, если в десять лет он не испытал еще настоящей боли, не познал ее полной силы.

— Тетенька! — крикнул ей Вандербуль. — Тетенька! Девушка выплыла из тумана.

— Чего ты орешь?

— Мне зуб тащить.

— Боже, такой крик поднял. Иди в детскую.

Вандербуль сморщился, завыл громко. Одной рукой он схватился за живот, другой за щеку. Ему казалось, что, если он перестанет выть и кричать, девушка ему не поверит и выставит его за дверь.

— Не могу-у. Я сюда еле-еле добрался.

Девушка еще не умела распознавать боль по глазам. Она недоверчиво слушала Вандербулевы вопли. Вандербуль старался изо всей мочи — с басовитым захлебом и тонкими подвываниями. Наконец девушка вздохнула, заложила книжку открыткой с надписью «Карловы Вары» и, подняв телефонную трубку, спросила служебным голосом:

— Дежурного врача... Софья Игнатьевна, примете с острой болью? — Потом она посмотрела на Вандербуля, и во взгляде ее появилось сочувствие. — Только рвать не давай, пусть лечат. Очень обидно, когда мужчина беззубый.

Вандербуль поднялся по лестнице.

На втором этаже в коридоре сидели люди на белых диванах. Молчали. Боль придавала их лицам выражение скорбной задумчивости и величия.

У дверей кабинета стоял бородатый старик в новом синем костюме, красных сандалиях и желтой клетчатой рубашке-ковбойке. Старик ежился под взглядом заносчивой санитарки.

— Поскромнее нарядиться не мог? — санитарка качнула тройным подбородком. — Не по возрасту ст ляга.

Старик вежливо поклонился.

— А вы, мабуть, доктор?

Санитарка пошла волнами, казалось, она разольется сейчас по всему коридору.

— Хлеборезка ты старая. Я в медицине не хуже врачей разбираюсь. Я при кабинете тридцатый год... очереди!

Старик вздохнул, пригладил пиджак на груди, застегнул необмятый ворот рубахи.

— Ваша, ваша, — великодушно закивали с диванов.

— Я еще побуду, — смущенно сказал старик. — Может, кто раньше торопится?

Санитарка опалила его презрением.

— Нарядился, как петух, а храбрость в бане смыл, что ли? Кто тут есть с острой болью?

— Я, — прошептал Вандербуль.

Санитарка опустила на него глаза.

— Голос потерял? Ничего, сейчас заголосишь. — Она подтолкнула его к дверям. — Проходи.

У Вандербуля свело спину, заломило в затылке.

В кабинете на столике в угрожающе точном порядке лежали блестящие инструменты. Женщина-доктор писала в карточке.

— Садитесь, — сказала она.

Кресло — как холодильник, хоть совсем не похожее. Заныли зубы. До этого они не болели ни разу. Вандербуль жалобно посмотрел на врача.

Доктор подбадривающе улыбнулась. Нажала педаль.

Кресло поднялось бесшумно. Прожектор — триста свечей — придавил Вандербуля жестким лучом. Из желтой машины тянулись ребристые шланги, торчали переключатели. Капала вода в белый звонкий таз.

Неизвестность страшнее познания. И только героям понятно, что в слабых людях познание рождает страх, в сильных — мужество.

— Как зовут?

— Вандербуль.

— Никогда не слыхала такого имени.

Голос у доктора словно издалека.

— Это не имя. Имя у меня Васька. Мне зуб рвать.

Доктор взяла инструмент, сверкающе острый. Ее пальцы коснулись Вандербулева подбородка. Пальцы у докторши теплые.

— Открой рот. Какой зуб болит?

— А вот этот, — Вандербуль сунул палец в рот, нащупал зуб, который потоньше.

Герои стояли за дверью. Он слышал их сочувственное пыхтение.

Докторша шурилась.

— От горячего больно?

Вандербуль согласился.

— От холодного?

— Тоже.

Докторша постучала по зубу металлом. Вандербуль вздрогнул, выгнул спину дугой. Докторша по другому зубу стукнула и даже по третьему, в другой части рта.

— Нет, — Вандербуль потряс головой и еле слышно добавил: — Рвите, который крепче.

Глаза докторши приблизились. Зрачки подрагивали в них, вспыхивали черным сиянием.

— Как ты думаешь, врач имеет право выдрать больного?

— По-настоящему?

— Ну, хотя бы оттащить за уши?

— Не надо...

Докторша выпрямилась.

— Тетя Саша, следующего, — сказала она. — А этого вон. Гоните.

Над Вандербулем нависла грозная санитарка. Она прижимала голые локти к могучим бокам.

Вандербуль отскочил к двери. И вдруг всхлипнул, и вдруг заорал:

— Это не по-советски! Мне нужно зуб рвать!

Герои смущенно кашляли где-то рядом.

Вандербуль вылетел в коридор. Санитарка поправила закатанные выше локтей рукава.

— Чтоб медицина здоровые зубы рвала? Иль здесь живодерня?

— А если я очень хочу? Мне очень нужно.

— Иди, хотя в другом месте. Следующий.

В кабинет влетела девица с распухшей щекой.

Очередь поглядывала на Вандербуля с недоумением. Молчаливые заговорили:

— Тут сидишь, понимаешь. Время в обрез.

— Видно, драть некому.

— А еще пионер.

Вокруг плакаты. На одном — человек с зубной щеткой. Мужественно красивый. Толстые буквы вокруг него кричат басом: «Берегите зубы!» Мужественный человек на плакате улыбается белой улыбкой. Он берег свои зубы с детства.

На лестнице Вандербуля догнал старик.

— Слушай, хлопец, постой. Поздоровкаемся.

Старик посадил Вандербуля на скамейку. Вандербуль отвернулся.

— Ух же какой ты сердитый! К чему бы тебе здоровый зуб рвать?

— Для боли.

Старик обмяк, рассмеявшись. Смеялся он хрипло, и голос у него был хриплый, глухой. Звуки, наверно, застревали в густой бороде, теряли силу.

— А вы не смейтесь! — выкрикнул Вандербуль. — Сами не понимаете, а смеетесь.

— Чего же ж не понимать? Хоть и больная зубная боль, да не дюже смертельная. — Смех скатывался со стариковой бороды, тек по новому пиджаку, словно крупные капли дождя.

Вандербуль разозлился.

— А сами боитесь! — закричал он. — Сами стоите у двери.

Старик продолжал смеяться.

— Я же ж не боюсь. Я опасуюсь. Мне докторша тот зуб дернет, а я ее крепким словом. Мне же ж неудобно, Вон какая культура вокруг. И докторша не виноватая, что у меня зуб сгнил.

— Кто вам поверит? — сказал Вандербуль. — Просто трусите и сказать не хотите.

Смех ушел из глаз старика.

— Худо, когда не поверят. — И добавил: — А боль от зуба обыкновенная.

Дверь в кабинет отворилась. В коридор вышла заплаканная девица с распухшей щекой. Медленно, со ступеньки на ступеньку, двинулась вниз.

— Очересть! — крикнула санитарка.

С белого дивана поднялся угрюмый мужчина. Старик сказал ему грустно:

— Я извиняюсь. Я теперь сам войду. Вы уж будьте настолько любезны, посидите еще чуток.

КРУПНЫЙ ДОЖДЬ

Солнце билось в витринах и лужах. Над асфальтом стоял робкий пар. На закоптелые крыши надвигалась мокрая туча. Солнечный свет встречал ее в лоб, становясь от этого резче и холодней.

Милиционер надел прорезиненный плащ с капюшоном. Женщины распахнули зонты.

Вандербуль и старик шли по улице.

Старика звали Власенко. Он ворчал:

— Худо, когда рот только для каши годен. — Отвернулся, и, когда глянул на Вандербуля, рот у него засверкал белой пластмассой.

«Наверно, вставные зубы не нужно чистить, — подумалось Вандербулю. — Наверно, их моют мочалкой».

— Год в кармане берегу, — объяснил старик, раскланиваясь с прохожими. — Тот старый пень мешал. Я бы его на геть вырвал, но ведь какая причина — последний. Последний зуб — не последний год, а все жалко. Нынче зимой, когда он совсем расхворался, я решил зараз: вырву. Для этой цели я и в Ленинград прибыл, оказал старому лешему последнюю почесть. У меня же ж тут в Ленинграде дочка. Анна. Аспирантуру проходит по моряцкому делу. — Старик вытащил из кармана стершийся зуб, повертел в пальцах и бросил его через парапет в речку Фонтанку.

— Ух же ж ты, старый пень. Прощай, брат... — блеснули в грустной улыбке стариковы вставные зубы.

— Больно было? — спросил Вандербуль и посмотрел на старика с такой завистью, что старик опять рассмеялся.

— Я же ж тебе объяснял. Обыкновенная боль. Что зуб рвать, что пулей тебя прошьет, — одинаково по животу. Только мужик как устроен? Он любую боль стерпит, если сопротивляется. Без сопротивления мужчина скучный. Отсюда мужику зуб рвать — хуже нет. Не ударишь ведь докторшу невиноватую. Настоящему мужику в атаку легче идти, чем к зубной докторше.

Дождь хлынул сразу. Широкой теплой метлой хлестнул по всем улицам. Загнал Вандербуля и старика в подворотню,

Сильный дождь настроения не портит. Люди отряхиваются, говорят «черт возьми», но в этих словах нет досады и злости. Тучные мужчины с портфелями, подвернув штаны, скачут по ошпаренному асфальту. Смеются над собственной резвостью.

— А вы на войне были? — спросил Вандербуль старика.

— Я-то? На империалистической окопную вошь кормил. В гражданскую за советскую власть сражался. В Отечественную уже ж куда меня занесло. Аж в Югославию. В партизанский отряд, к командиру товарищу Вылко Иляшевичу.

Ветер шумел в подворотне, холодил мокрые спины.

— Скоро дождь кончится, — сказал Вандербуль. — Сильный дождь — короткий. А на которой войне вам всех больнее пришлось?

Старик посмотрел на Вандербуля затосковавшими вдруг глазами.

— На последней... Дюже далеко на нашу территорию немец прошел.

— Я у вас про другую боль спрашиваю, — сказал Вандербуль.

— Всякая боль — боль. Я ж тебе расскажу. Имеется у меня знакомец. Он до войны служил моряком. Имел он в себе гордость от своего моряцкого звания, от своего уже немолодого возраста, от своей силы в мускулах и от своего веселого нрава. Плавал мой знакомый товарищ шкипером на баржах. У баржи ход медленный. Зато дюже большой простор для глаз. По берегам жизнь. Лесные породы друг друга теснят. Травы зеленые в воду лезут. И под килем жизнь: лещи, окунье, букашки — словом, разнообразное подводное царство.

А что касается людей береговых — мой знакомец для них лучший друг. Он им необходимый фабричный товар привозит, киномеханика, книжки. У них забирает картошку, хлеб, тес, постное масло, рыбу, лесную ягоду, грибы.

Те береговые люди имели на моего знакольца еще и особый вид — хотели его оженить на своей девушке. И, как говорят, окрутили. Перед самой войной случилось это веселое дело.

Жена моему сотоварищу досталась под стать — красивая. Такую и во сне не всякий увидит. Принялась она плавать с ним на барже в должности кока. И за матроса могла. А как заведет песню под вечер, — по берегам парни млеют, плачут про себя, что такая красавица мимо них по воде уплывает.

Мой знакомец и его молодая жена загадали себе на будущее двух ребятишек, ибо без ребятишек людям жить невозможно. Одни монахи без ребятишек могут. Они же ж монахи — ни богу свечка, ни черту кочерга. Они для дури живут и то маются.

Мой знакомец и его молодая жена загадали себе ребятишек — и не сбылось.

В сорок первом году, как война принялась, они вывозили из Выборга беженцев. Когда люди спасаются от беды, они в первую очередь детей хватают, чтобы не кончалась на свете жизнь. И стариков, — чтобы сохранилась на свете память.

У моего сотоварища на барже все женщины с ребятишками да старые матери-бабки.

Шли ночью. Хотя и светлая, а все ночь. Уже Кронштадт — спасение ихнее — вот он, из воды торчит. Беда на беду ложится: у моего сотоварища на барже лопнул буксирный трос. Баржу разворачивает волной. Волна та накатистая шла, гонит баржу на мелкое место. Буксиру повернуть невозможно, бо у него на гаке еще две баржи с народом. Переговорили, как положено морякам, на сигнальном морском языке, — порешили. Пошел буксир в Кронштадт, а мой знакомец якоря бросил. Ждут люди, когда буксир за ними обратно вернется, спокойно ждут, без паники, бо тут паники не должно. Дети спят. Женщины дремлют. Бабки совсем без сна, они мало за свою жизнь спали, а к старости и совсем разучились.

Мой сотоварищ на носу был, с буксирным тросом занимался. Жена его у надстройки. Там она тент приладила ситцевый, в красную розочку, чтобы ребятишкам в тени спать, когда солнце встанет.

Замечал, когда солнце над морем еще не поднялось, — облака розовые? Будто перьями по всему небу. А вода темная.

В этот час оно и случилось. Прямо из розовых облаков спустились они со своими бомбами. За сто верст ви-

дать — груз не военный — мирные женщины с ребятишками. А они ж налетели, будто на крейсер.

Вода от взрывов, как пиво, вверх лезет.

Ребятишки в рев — какая у ребятишек защита? Жмутся под ситцевый тент и ревут.

Мой сотоварищ бросился на помощь бежать. Взрывом оторвало палубную обшивку, свернуло трубой. Запеленало его в эту трубу. Сперва сознание от него ушло, мабуть, на целую минуту. А когда возвратилось, он вокруг глянул. Баржу перерубило на две половины, и каждая половина тонет сама по себе. А между ними народ тонет.

Мой сотоварищ рвется из железных своих пеленок — рукой не шевельнуть, как в клещах. А народ тонет. Нос высоко задрался, почти свечой — большое пространство воды видно. Ребятишки тонут. Женщины прилаживают их к плавучим обломкам: может, продержатся, пока помощь поспеет, может, прибьет волной к берегу.

А не прибьет их волной к берегу: сверху их из пулеметов топят. Взрослый мужик молча старается умереть. Ребятишки — они же теснятся друг к дружке и плачут, они смерти не понимают. И вот в этой беде моему сотоварищу все эти ребятишки его родными детьми показались. Он закричал. Зовет их. А что пустой крик в море?

Такая есть боль, — когда жена, когда дети на твоих глазах тонут и их вдобавок из пулеметов бьют, а ты им помочь не умеешь.

Он кричал летчикам: «Гады вонючие, в меня цельте, вот я!» Голову высунет из трубы, чтобы в него попало, А не попало — все в железо да в железо.

Корма с надстройкой ушла под воду быстро. Носовая часть не тонет дальше. Мабуть, на грунт встала, мабуть, воздух скопился в самом носу. Мой знакомец над водой повис. В лицо ему волна тычет.

Море опустело. Узлы, плавучие ящики, чемоданы унесло к берегу. Только тент ситцевый, под которым ребятишки прятались, плавает.

Мой знакомец долго кричал в пустое море. Плакал один. И когда его вытащили из железа матросы с «морского охотника», он кричал, ребятишек звал. Не хотел он жить.

И в госпитале кричал. Свесится с койки к полу, его же привязывали, и кричит --- зовет ребятшек.

А никто ему не откликнется. . .

* * *

Дождь гудел на асфальте. Было совсем не понятно, как может небо скопить в себе столько воды. Удивленные люди уже не пытались перебегать улиц. Люди жалели милиционера, который стоял на перекрестке. Старушка в черном пальто, с плешивым усталым терьером на поводке попросила:

— Молодые люди, отнесите милиционеру мой зонт. Пожалуйста, будьте любезны.

— Спасибо, мамаша, то есть гражданка, я тут, — раздался чей-то смущенный голос. И все увидели милиционера. Он стоял под карнизом, в толпе промокших насквозь студентов.

— Боже, какая стихия! — вздохнула старушка.

Автобусы проплывали мимо, не отворяя дверей.

— Я у вас про физическую боль спрашивал, — сказал Вандербуль старику.

— Это ж она и есть, самая наитяжелая физическая боль. И воздух вокруг, а дышать нечем. И ухватиться не за что, а если и ухватишься, оно, как трухлявое дерево, под рукой сыплется. И ты будто воешь, а звуку твоего не слышно . . . Когда через неделю мой товарищ очнулся в госпитале, — узнал от главного врача, что нога у него сломана, два ребра смяты и ключица наружу, не считая нарушения внутренних органов.

«Это во мне враз заживет, — сказал он врачу. — От этого я не дюже страдаю. Я теперь такой человек, что и смертельную боль приму спокойно и независимо от прожитых годов».

— Может, вы про себя рассказывали? — спросил Вандербуль.

Старик усмехнулся, посмотрел на свои бурые, словно сплетенные из шнурков руки.

— У меня своя биография, у него своя. Я недавно с ним познакомился — в позапрошлом году. Он в Новороссийске сейчас проживает по инвалидности. Он же ж в конце войны ослеп и сейчас слепой. Он же ж какую

силу в себе имсет — на кабана ходит с собакой. По шороху стреляет, по звуку.

Дождь ударил еще сильнее. Казалось, он пробивает асфальт и земля, пропитавшись влагой, плывет под асфальтом, и мостовая рухнет сейчас. И рухнет город.

— Я у вас все равно про другое спрашивал, — сказал Вандербуль. — Такая сказка есть. . . Был один король, а у него — полководец. А у полководца был помощник. Король был очень знаменитый, потому что у него был полководец очень хороший. Он королю все войны выигрывал. А помощник завидовал и от зависти задумал злодейство. Король был обжора, у него от этого часто живот болел. Когда у него живот болел, у него настроение портилось и он на всех бросался. Помощник подождал, когда у короля живот заболит, и нашептал ему на ухо, что полководец готовит в войске измену. Король приказал полководца позвать и как закричит на него:

«Говори, пес-изменник, ты или нет?!» — «Я твой верный солдат», — сказал ему полководец ровным голосом. «А чем докажешь?» — «Даю руку на отсечение».

Король выхватил свой обоюдоострый меч и отсек полководцу руку. И ни один мускул не дрогнул у полководца на лице. Вот какой был, — Вандербуль вздохнул и даже закашлялся от восторга. — Вот я про что спрашиваю. Ему руку отсекли, а у него даже брови не шевельнулись.

Старик засмеялся.

— Красивая твоя сказка. Только, думается, она не для жизни, а так — вроде бы для картинки. Для жизни она даже красивая.

Дождь оборвался внезапно, только отдельные капли шлепали по асфальту. На улице стало шумно и оченьлюдно.

Осторожно ступая, вышла из ворот пестрая кошка. Голуби вылетели из-под карнизов.

— Славный был дождь, — сказал старик. — Хочешь, в кино пойдем, картину посмотрим? Все равно я сейчас свободный от дела.

— Спасибо, — пробормотал Вандербуль. — Я домой. Он пожал старику руку. Старик попридержал его.

-- Тебе куда?

— Туда.

— Значит, нам в одну сторону.

Прохожие покупали сигареты с такой поспешностью, будто билеты на киносеанс, который уже начался. Старик взял пачку махорочных и коробку болгарской «Фемины».

— Для угощения, — объяснил он. — Твои родители кто?

Вандербулю стало неловко.

— Обыкновенные, — прошептал Вандербуль.

Он даже не знал, где работает его отец-инженер. Отец никогда не рассказывал о себе ничего такого, чем Вандербуль мог бы похвастать. Не отличался его отец ни силой, ни ростом, ни бойкостью в разговорах. Мать у него тоже была обыкновенная. Вандербуль вдруг почувствовал себя обворованным и униженным. Ему стало ясно, что жизнь обошла его, не одарив с рождения гордостью за родителей.

Мимо прошел пожилой моряк с широкой нашивкой. «Капитан, — подумал Вандербуль. — У этого есть чем гордиться». Он позавидовал капитанским детям и, не глядя на старика, соврал:

— Мой отец капитан. Его корабль налетел на старую мину у Курильских островов... Никто не спасся.

— Значит, ты моряцкой породы, — пробормотал старик. — А мамка что же? Снова замужем? Или вдовствует?

Люди врут, чтоб возвыситься. Ложь потащила Вандербуля в щемящую смуту, где каждый человек может увидеть себя хоть самым Прометеем.

— Она в больнице. Может быть, умерла...

— Вот как, — остановился старик.

Вандербуль смотрел в землю. Струйки грязной воды текли по асфальту.

— А я, старый леший, тебе рассказываю. Вот почему ты болью интересуешься.

— Я у тети живу, — сказал Вандербуль.

Он еще был высоко в своей лжи и чувствовал, что придуманные страдания сжимают сердце не слабее, чем настоящие. Ему даже показалось, что великие герои тесно столпились вокруг и смотрят на него, как на равного. И он поднял голову.

За деревьями, за черными крышами торчали антенны и клювастые краны. По Межевому каналу буксир тащил баржу. Пахло корюшкой, будто свежими разрезанными огурцами.

— Я домой, — сказал Вандербуль.

На просмоленных досках дрожала радуга. Автобусы разрывали ее, но она снова смыкалась.

Старик проводил Вандербуля до самых ворот.

Дворник Людмила Тарасовна подметала асфальт.

— Что с ним? — спросила она. — Может, его машиной задело?

Старик угостил ее сигаретами — распечатал коробку «Фемины».

— Напрасно так думаете. Кто же ж такого хлопца заденет? Славный хлопец. И вы тоже славная женщина.

Старик попрощался с Вандербулем. И когда он ушел, Вандербуль почувствовал, что остался один на всем свете.

СЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА

Вандербуль позвонил своему товарищу Геньке. Генька распахнул дверь и потащил Вандербуля по темному коридору.

— Хочешь, я тебе электрический граммофон заведу? — сказал Генька в комнате. — Серьезная музыка успокаивает нервы.

Вандербуль посмотрел на него пустыми глазами.

— Не нужно. Меня из больницы прогнали.

Генька остановился с пластинкой в руке.

— Жалко.

Генька все знал про боль. И никто не видел, как он плачет.

Сейчас он стоял перед Вандербулем, рассматривал граммофонную пластинку, словно она разбилась. Вандербуль тоже смотрел на эту пластинку, переминался с ноги на ногу. Генька вытер пластинку рукавом, поставил ее в проигрыватель. В динамике загремели трубы, заверещали скрипки, рояль сыпал звуки, словно падала

из шкафа посуда. Музыка была очень громкая, очень победная.

— Что делать? — спросил Генька тихо.

Вандербуль уже знал: нужно сделать такое, чтобы люди пооткрывали рты от восхищения и чтобы смотрели на тебя, как на чудо.

* * *

— Позовем ребят, — сказал Вандербуль.

Пришли Лешка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девочка Люциндра.

Сидели на кухне.

— Я опущу руку в кипящую воду, — сказал Вандербуль. — Кто будет считать до пяти?

У Лешки обвисли уши. Люциндра вцепилась пальцами в табурет. Шурик проглотил слюну.

— Ты опустишь?

— Я.

Шурик забормотал быстро-быстро.

— Давай лучше завтра. Завтра суббота.

Генька, ни на кого не глядя, зажег газ. Поставил на огонь кастрюлю с водой.

— Я буду считать, — медленно сказал Лешка-Хвальба. Он встал, прислонился к стене, прилип к ней, как переводная картинка. — Если человек хочет, пускай хоть застрелится.

Люциндра и Генька переглянулись и побледнели.

— Нетушки, — прошептала Люциндра. Она повернулась к Лешке, сказала с неожиданной злостью: — А ты молчи, молчи! Я сама буду считать. — И спрятала под табурет исцарапанные лодыжки.

— Считай, — Лешка плюнул на чистый линолеум. — Только вслух.

Огонь под кастрюлей был похож на голубую ромашку. На дрожащих ее концах переходил в малиновый с мгновенными ярко-красными искрами.

Вандербуль пытался представить себе героев, с улыбкой идущих на казнь. Великие герои окаменели, как памятники, занесенные снегом.

Донышко и стены кастрюли обросли пузырями. Мелкие, блестящие пузыри налипли на алюминий, словно вылезли из всех его металлических пор. Несколько

пузырьков оторвались, полетели кверху и растворились, не дойдя до поверхности. Потом вдруг все пузыри дрогнули, стремительно ринулись вверх. На самом дне вода уплотнилась, заблестела серым свинцовым блеском, поднялась мягким ударом и закрутилась, сотрясая кастрюлю.

— Ты кого-нибудь ругай на чем свет стоит, — научил его Генька. — Тогда не так больно.

В кухне было тихо и очень безмолвно. Только хлопотала вода, беспощадно горячая.

— Закипела, — прошептал Шурик.

Лешка сказал, отступя от стены:

— Ну, давай.

Люциндра захлопнула рот дрожащей ладонью.

«Кого бы ругать? — подумал про себя Вандербуль. — Может быть, генерала Франко? Франко дурак. Фашист. Ну да, дурак, подлец и мерзавец!» Перед ним всплыла фигурка, похожая на котенка в пилотке. Лохматенькое существо скалило рот. Оно было смешным и жалким.

Вандербуль засучил рукава, посмотрел на ребят, онемевших от любопытства. Взял свою левую руку правой рукой, словно боялся, что она испугается.

«Франко, ты дурак! Беззубый убийца. Все равно всем вам будет конец!»

Сунул руку в кипящую воду.

«Фра-а-а!!» — закричало у него внутри. Он забыл сразу все слова и проклятья. Мохнатенькое существо оскалилось еще шире и пропало в красных кругах. Боль ударила ему в локоть, ринулась в ноги. В голову. Боль переполнила Вандербуля. Вышла наружу.

«Ба-ба-ба...» — стучало у Вандербуля в висках. Он отчетливо слышал, как ребята перестали дышать, как громыхает в кастрюле вода, как жалобно трется о форточку занавеска. Как Люциндра считает с пулеметной скоростью, почти кричит:

— Раздватричетырепять!

Он выхватил руку из кастрюли. Шагнул к раковине. Генька уже открыл кран.

Под холодной струей боль опала. Ноги перестали дрожать.

«Может быть, зря, — медленно думалось Вандер-

булю, — может быть, я останусь теперь без руки». Но это его не пугало.

Рука набухла на глазах. Пальцы растопырились в разные стороны.

Люциндра заплакала.

Лешка-Хвальба то открывал, то закрывал рот, словно жевал что-то горькое.

Шурик-Простокваша подошел к кастрюле, уставился в бурлящую воду. Поднял руку...

Генька оттолкнул его и выключил газ.

* * *

В больнице Люциндра кричала охрипшим голосом: — Нам нужно без очереди! Несчастный случай случился.

Мальчишки почтительно мялись за Вандербулем. Рука у него обмотана полотенцем. Боль ударяет в локоть толчками, жжет плечо, кривит шею.

Вандербулю было спокойно, словно свалилась с него большая забота, словно он победил врага беспощадно могучей силы.

Люди провожают его взглядами, в которых сочувствие и сострадание. А он улыбается. И сострадание переходит в обиженный шепот:

— И чего улыбается? Может, ему руку отнимут...

А он улыбается.

Доктор — молодой парень — постучал карандашом по губе, попросил санитарку выйти и тогда спросил:

— Сколько держал в кипятке?

— Не знаю. Люциндра считала до пяти. Только быстро, по-моему.

— По-твоему, — доктор заложил руки назад и заходил по узкому кабинету.

— Ух, — говорил доктор, сжимая за спиной чистые-чистые пальцы. — Глупость все это.

«Хорошее дело быть доктором, — думал Вандербуль. — Доктору нужно все понимать». Он улыбнулся врачу, и тот нахмурился еще больше, — наверно, застенялся своего несолидного вида.

— Очень было больно?

— Как следует.

— Не орал, конечно.

Доктор осторожно обмыл руку жидкостью, подумал и наложил повязку.

— Без повязки лучше. Повязку я для твоей мамы делаю.

— Приходи, — сказал доктор.

— Спасибо, приду, — сказал Вандербуль. — А как вас зовут?

Доктор опять рассердился.

— Я тебя не в гости зову. В гости ко мне хорошие дети ходят.

Вандербуль засмеялся. Доктор покраснел и добавил, не умея сдерживать досаду:

— Будешь ходить на лечение и на перевязку. Герой.

«Я бы к вам даже в гости пришел, — подумал Вандербуль, глядя, как доктор пишет в карточку свои медицинские фразы. — Конечно, доктора должны уметь и кричать, и ругаться, но так, чтобы от этого становилось легче больным и раненым людям».

— Люциндра тоже хочет стать доктором, — сказал он, прощаясь. — Ей это дело пойдет. Она очень добрая, хоть и делает вид.

Доктор выставил Вандербуля за дверь.

Когда ребята узнали, что ожог не такой безнадежный и рука будет цела, ушло чувство подавленности. Ребята возликовали. Они кружили вокруг Вандербуля, трогали его бесстрашную руку, заглядывали в глаза и были готовы поведать каждому встречному о мужестве и молчании.

Зависти не было. Люди завидуют лишь возможному и желаемому.

— Я думал, ты трусишь, — говорил Лешка. — Гад буду, думал.

— И я думал, — бормотал Шурик.

— А я знала, что вытерпишь. Я всегда знала, — ликовала Люциндра. — Я еще тогда знала.

Генька шел впереди, рассекая прохожих.

Во дворе, развешенное на просушку, полоскалось белье. Всюду, где не было асфальта, малыши в ботах старательно ковыряли землю. Дворник Людмила Тарасовна читала роман-газету. Она сидела под своим окном на перевернутом ящике.

Вандербуль прошел мимо нее. Ему казалось, что он окружен сладким паром. Обожженная рука держалась

на марлевой петле, перекинутой через шею. Рука болела, но что значила эта боль!

Людмила Тарасовна закрыла роман-газету, скрутила ее тугой трубкой, но даже не заворчала, завороженная лицами Лешки-Хвальбы, Шурика-Простокваши, девчонки Люциндры и гордого Геньки. Они шли вокруг Вандербуля, как ликующие истребители вокруг рекордного корабля. Ей потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. И она сказала одно только слово:

— Да-а...

Что это означало, никто не понял, но все почувствовали в этом слове что-то тоскливое и угрожающее.

ИСТОСКОВАВШИЕСЯ КОРАБЛИ

Вандербуль поднялся к себе на этаж. Ребята стояли рядом с ним, они были готовы принять на себя главный удар.

Мама открыла дверь и долго смотрела Вандербулю в глаза. Забинтованную руку она будто не замечала. Лицо ее было неподвижным. Только подбородок дрожал и подтягивался к нижней губе. Мама пропустила Вандербуля и закрыла дверь перед ребятами.

В комнате у стола сидел старик Власенко. Перед ним лежал пакет с серебристой рыбой.

Вандербулю показалось, что больная рука оторвалась от туловища и бьется одна, горячая и беспомощная. Он вцепился в нее правой рукой и прижал к груди.

— Что это? — спросила мама измученным голосом.

— Обжег.

— Ну вот, — сказала мама, как о чем-то давно известном и все равно горьком.

Старик поспешно поднялся.

— Я теперь пойду, — сказал он с досадой. — Извините великодушно. Старый леший, или ты от старости умом помрачнел? — бормотал старик, расправляя в руках мятую кепку. — Рыбу вы все же возьмите. Это же селедка дунайская, самая первейшая рыба. Поедите за ужином, или гости придут.

Он надел кепку. Вытер лицо платком. Кепка ему мешала, он сбил ее на затылок.

— Проводи меня, сиротина, до остановки.

Мама хотела возразить, но подбородок у нее снова запрыгал, и она промолчала.

Вандербуль бросился к двери. Он выбежал на лестницу, промчался мимо друзей, которые стояли в парадном, и остановился перед Людмилой Тарасовной: она преградила ему путь метлой.

Людмила Тарасовна спросила, словно клюнула в темя:

— Куда?

— А вам что?! — закричал Вандербуль. — Что вы все лезете?

Сзади подошел старик. Крепко взял его за плечо.

— Давайте ругайте! — закричал Вандербуль. — Ну, наврал... Ну!

Старик вывел его на улицу.

Вандербуль смотрел на прохожих, но видел только серые пятна.

— Что ты сделал с рукой?

— Сунул в кипяток.

Старик прижал подбородок к ключице, отчего борода его вздыбилась.

— Сколько людей за вас жизнь отдали, а вам мало.

Старик пошел. Вандербуль глядел себе под ноги.

— А вам что?! — вдруг закричал он. — Чего вам надо?!

* * *

— Милиция? У нас убежал сын... Он ушел днем. А сейчас уже ночь... Я всех обзвонила... Нет, мы его никогда не бьем... Пожалуйста. Я на вас очень надеюсь. Я вас очень прошу... Светлая челка. Глаза темные, серые. Брюки джинсы — техасские штаны... Да нет же, не заграничные. Такие брюки продаются в наших магазинах. Они очень удобные для ребят, на них карманов полно... Зовут Василием. Фамилия Николаев... Особые приметы? У него забинтована левая рука... Не знаю. Кажется, обжег... Спасибо большое.

Во время этого телефонного разговора Вандербулев отец стоял у окна, смотрел в мокрую ночь. Он курил сигарету.

Мама положила трубку, и аппарат коротко звякнул.
— Кажется, все у него есть, — сказала Вандербулева мама. — Так чего ему нужно?
— Взрослеть, — ответил отец.

* * *

Ночь черная, плотная. Вокруг фонарей кипят желтые шары, тьма вокруг фонарей зеленая, а дальше, за домами, — густо-фиолетовая, как высохшие в банке чернила.

Вандербуль подошел к воротам морского порта. Взбирались ввысь красные лампочки. Они висели на подъемных кранах, далеко предостерегая идущие в ночи самолеты. В море качались, пересекались расплывчатые силуэты — одни темнее, другие чуть посветлее ночи. Мерцали неяркие блики. Вандербулю показалось на миг, что весь порт забит ржавыми грузовыми пароходами, греческими фелюгами, рыболовными шхунами, тральщиками и белотрубными океанскими лайнерами. И все эти корабли прислушиваются к скрипу сходен. Ждут. Потому что давно, они уже позабыли когда, в их трюмах сидели голодные тихие зайцы. Корабли истосковались по сердцу, которое живет и ликует в самом темном углу их старательного и молчаливого тела.

Дождь мочил волосы, падал за шиворот, стекал по спине к пояснице.

Вандербуль открыл дверь вахты и сразу с порога сказал:

— Згуриди Захар, с острова.

Вахтер посмотрел списки, потом пристально глянул на Вандербуля.

— Ты вроде потолще был.

Вандербуль поднял обожженную руку.

— Когда вам руку легковухой отдавят, и вы похудеете.

— Как же тебя угораздило?

— Поскользнулся. Проклятый дождь, везде скользко.

Вахтер покачал головой и уткнулся в газету.

Ветер шел с моря, качал фонари, прикрытые коническими отражателями. По бетону, позванивая, летела серебристая обертка от шоколада.

За морским каналом на острове был завод. На острове жили рабочие. На острове спал сейчас Згуриди Захар — одноклассник.

За большим пакгаузом темнота уплотнялась, становилась черным корпусом океанского корабля. Огней на борту почти не было.

У трапа ходил пограничник.

Вандербуль спрятался под навесом, за бумажными мешками. Где-то под ложечкой сосали тоска, неуютность и чувство бесконечного одиночества. Вандербуль следил за пограничником, грудью навалился на мешки. Здоровой рукой он нащупал в мешке бананы. Бананы привозят зелеными. Вандербуль с трудом отломил один, надкусил не очистив и выплюнул. Мякоть у банана была твердая, вкусом напоминала сырую картошку, вязала рот.

Когда виноватый задумает себя оправдать, то первым делом ему покажется, будто его не понимает никто. Что вокруг только черствые, равнодушные люди. И от этого он станет себя жалеть, а из жалости есть один только выход — возвыситься.

— Я докажу, — бормотал Вандербуль. — Я таких там дел понаделаю. Вы еще обо мне услышите... — Он не знал, где это там, но был твердо уверен, что отыщет то самое место на земле, где сейчас до зарезу необходим Вандербуль. Где без него ничего не двигается, где без него царят уныние и растерянность и уже покачнулась вера в победу.

Он придет. Он поднимет флаг.

— Вы еще пожалеете... — бормотал Вандербуль.

Он сидел долго. Наверно, вздремнул.

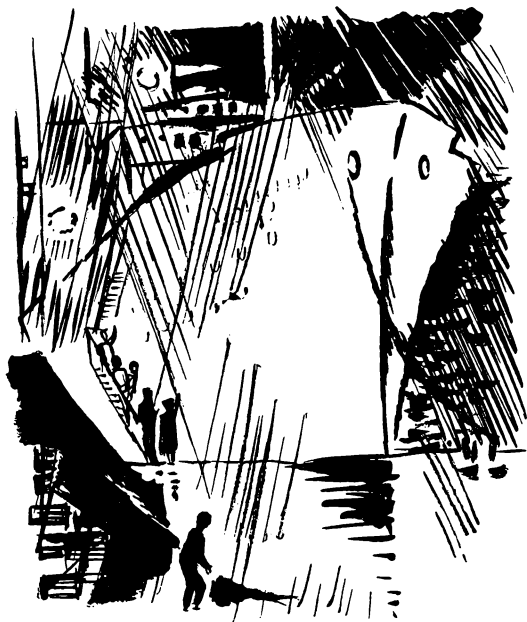
К пограничнику подошли матросы. Они смеялись, говорили, картавя:

— Карашау.

Пограничник стал смотреть их моряцкие документы. В этот момент Вандербуль переполз пирс и повис на локтях под трапом.

Матросы смеялись, пританцовывали, шаркали остроносными туфлями. Смех замер где-то вверху, в хлопанье дверей, в затихающей дробь шагов.

Между пирсом и кораблем, словно пойманные в западню, бились волны. Брызги, смешиваясь с дождем, долетали до Вандербуля.



Пограничник повернулся к трапу спиной, втянул голову в ворот шинели. Вандербуль здоровой рукой взялся за трап и, опираясь на локоть левой, полез, неслышно переступая с плицы на плицу. Он надолго повисал над узкой полоской воды, зажатой между пирсом и черным корпусом корабля. Волны схлестывались друг с другом, жадно ловя отсветы бортовых огней. С трапа стекала вода. Одежда насквозь промокла.

Вандербуль лез выше и выше. Правая рука занемела, левая — больная — ныла. Боль отдавалась в плече. Вандербуль запрокидывал голову, слизывал дождевые капли с верхней губы; капли были соленые. Почти у самого борта Вандербуль перебрался на трап и на четвереньках вполз на палубу.

Вахтенного на палубе не было, это Вандербуль заметил, когда лежал под навесом. Капитан, наверное, рассудил, что пограничник у трапа — охрана более надежная, чем десять вахтенных.

Вандербуль не знал, куда спрятаться. Метнулся к шлюпкам. Брезент. Брезент покрывал шлюпки. Его не поднять. Брезент принайтован. Вандербуль достал ножик, перерезал петлю. Залез в шлюпку. Прямо на банках лежали весла. Вандербуль устал. Он свернулся в клубок. Он хотел спать и хотел, чтобы его не будили.

Он еще не отдохнул достаточно, когда почувствовал сквозь сон мягкие толчки, но он не хотел просыпаться. Он заставлял себя спать и спал. И снова чувствовал, как падает и вздымается, будто летит. Во сне он вспомнил маленькую девочку из своего дома, которая рассказывала ему, что уже научилась приземляться. Раньше она летала во сне и всегда падала, а теперь она научилась приземляться, как птицы. Для этого нужно было очень быстро махать руками — и тогда спускаешься хоть на ветку или куда захочешь. И висишь в воздухе, не сминая травы, не ощущая твердости и тяжести земли под ногами.

Вандербуль улыбнулся во сне и, когда почувствовал падение, быстро замахал руками. Горячая боль резанула ему по закрытым глазам.

Вандербуль сел, прижал больную руку к груди. И открыл глаза.

Он увидел море вокруг, серое и пустынное.

Возле шлюпки стояли матросы. Несколько человек. Они глядели на него, как смотрят в зоопарке на зверьков, которых знали всегда, но увидели в первый раз.

— Бонжур, Магеллан, — вежливо сказал один из матросов.

Вандербуль втянул голову в плечи. Глянул исподлобья на горизонт, — может быть, там осталась его

земля?.. Может быть, с другой стороны. Он посмотрел в другую сторону.

Матросы засмеялись, закивали головами.

Вандербуль опустил голову, уставился на свою обмотанную бинтом руку. Ветер шлепал ему по щекам мокрой ладонью.

«Хоть бы дождик пошел, — подумал вдруг Вандербуль, — тогда можно было бы зареветь». Он знал одиночество после обид, это было трудное одиночество. Но сейчас все отступило. Сейчас было вокруг так пусто, словно сердце перестало биться и глаза перестали видеть.

НА БЕРЕГУ

Офицер-пограничник Игорь Васильевич вылез из такси и легко, по-командирски, поприветствовал Людмилу Тарасовну.

Вандербуль сонно вывалился за ним следом.

Утро. Облака над городами бело-розовые, как «зефир».

Людмила Тарасовна сидела под своим окном на перевернутом ящике. Она увидела Вандербуля, вскочила и, оступившись, прислонилась к стене.

— Знаете его? — спросил пограничник.

— Еще бы.

— Ну, Магеллан, прибыли. Неохота мне с твоей мамой встречаться. Ох, представляю! Но ничего не поделаешь — пойдем.

Людмила Тарасовна остановила пограничника за руку.

— Откуда вы его? — спросила она.

— Из Калининграда, оказией.

Людмила Тарасовна заторопилась.

— Вы его мне отдайте. Я его сама отведу. Я здешний дворник. Могу под расписку. Их нету. Они рано уходят на работу.

Пограничник насупился, вынул из планшета письмо, адресованное начальником погранотряда отцу нарушителя.

— Хорошо, — сказал он. — Я днем наведуся... — Он вздохнул и пробормотал: — Письмо приказано вручить лично. Приветствую вас. До свидания. — Он еще раз отдал честь Людмиле Тарасовне, сел в такси и только оттуда, опустив стекло, помахал Вандербулю: — Смотри, без эксцессов. У меня есть секретный приказ, если что...

Вандербуль улыбнулся грустно. Он знал, что Игорь Васильевич получил отпуск за хорошую пограничную службу и очень спешит к своей невесте Тамаре.

— До свидания, Магеллан! — крикнул Игорь Васильевич.

В глазах у Людмилы Тарасовны сгущалась тень. Она взяла Вандербуля за руку и медленно, зная, что он не посмеет сопротивляться, повела к себе.

Квартирка у Людмилы Тарасовны маленькая, почти пустая. Вместо украшений одна чистота. Такая просторная чистота.

Людмила Тарасовна поставила Вандербуля к стене. В глазах у нее что-то взорвалось. Она залепила Вандербулю пощечину. Крикнула:

— Плачь!

— Что вы, Людмила Тарасовна, — сказал Вандербуль.

— Плачь, говорю! — она бросилась к шкафу. Она рылась в нем, швыряя прямо на пол простыни, наволочки и полотенца.

— У матки нервные слезы не прекращаются, отец похудел, высох, а он целую неделю по морям плавает. А ему хоть бы что. Плачь, тебе сказано!

Наконец она нашла матросский ремень с потемневшей от времени пряжкой.

Людмила Тарасовна раскрутила ремень над головой и вдруг, отшвырнув его к паровой батарее, опустилась на пол. Она сидела посреди разбросанной одежды и всхлипывала.

— Что с вами делать? — бормотала она. — Мерзавцы. Мучители. — Она подняла на Вандербуля заплаканные глаза. — Этот-то, твой дружок, Генька, с третьего этажа спрыгнул.

— Что с ним? — прошептал Вандербуль. Внутри у него все напряглось. Он бросился к двери. — Где? В какой больнице?

Людмила Тарасовна вытерла глаза углом накрахмаленной скатерти.

— Ничего с ним не сделалось. Даже коленки не поцарапал. Парашютист негодный. Паршивец. И еще хочет. И еще рад чему-то... А ты чего радуешься?! — крикнула она Вандербулю.

Вандербуль сел на пол рядом с Людмилой Тарасовой. Ему захотелось утешить ее. Но он не знал чем и, наверно, поэтому сказал самую нелепую и самую вечную фразу на свете:

— Извините, мы больше не будем.

* * *

На перекрестке регулировщик-милиционер махал палочкой. Он казался себе дирижером. Но на улице нет дирижеров. Улица живет сама по себе. Улица учит человека раздумью, как морские волны, как лес, как река с обрывистыми берегами. Она и похожа на реку. Фарватер ее обозначен вывесками. Вывески, безусловно, красивые и, конечно, созданы для удобства: «Гипробум», «Роскооптехснаб», «Кожгалантерея».

Вандербуль ходил по улицам уже много часов. Людмила Тарасовна отпустила его под честное слово. На Театральной площади Вандербуль столкнулся с двумя моряками. У них были широкие нашивки на рукавах и широкие полосы орденских лент. Вандербуль долго глядел, как они, разговаривая, садились в автобус.

Капитан канадского парохода сказал, сдав его пограничникам:

— Когда убегайт такое мальчишка, — это значит, что в нем вырастает храбрый мужчина. Попишите это папан, чтобы он не порол его очень.

Командир погранотряда, полковник, долго разговаривал с Вандербулем. Вандербуль боялся таких слов, как измена, предательство, но полковник расспрашивал его об отметках и всяческих пустяках. Потом он сказал:

— О родителях ты не подумал, конечно.

Вандербуль опустил голову. Обожженную руку он сунул между колен. Кровь в руке билась толчками, она словно продолжала счет, начатый Люциндрой на кухне.

Только счет был сейчас очень медленный, и другая боль, посильнее ожога, росла в Вандербуле.

Он опять подошел к своему дому. Он знал на нем каждую выбоину, каждую надпись в парадных.

Из подворотни выбежала Люциндра. Вандербуль вздрогнул, спрятался за дерево. Чулки у Люциндры один длиннее, другой короче. Новые туфли велики — задники шлепают.

Люциндра постояла возле парадной и убежала обратно.

Вандербулю хотелось догнать ее, но он не сдвинулся с места.

Из проулка вышла старушка в черном пальто с побелевшими от древности швами. Она мелко шагала за лохматым терьером. Пес хрипло и часто дышал. Останавливался, скорбно смотрел на разьевшихся голубей. Это был пес-астматик, старый, неумирающий пес. Вандербуль когда-то боялся его.

— Дышишь еще, — обрадованно сказал Вандербуль.

Пес ткнулся ему в ноги и, жалуясь, задрожал.

— Он уже плохо видит, — сказала старушка. — Он добрый.

В воздухе стоял слабый запах травы. Бензиновая гарь не смешивалась с этим запахом, как жир не смешивается с чистой водой.

Вандербуль знал: мама сегодня не уснет всю ночь. Она будет ходить, поправлять на нем одеяло. А отец скажет ей:

— Ну, успокойся... Ну, все в порядке...

Вандербулю стало тоскливо от этих мыслей — невозможно терпеть.

Кто-то тронул его за рукав.

Вандербуль поднял глаза. Перед ним стояли Люциндра и Генька.

— Хорошо, что мы тебя встретили первые, — сказал Генька.

Они потащили его от подворотни, пролезли сквозь дыру в заборе и, ничего не объясняя, затолкали в чужую парадную.

На площадке третьего этажа они подвели Вандербуля к окну.

На улице среди редких прохожих ходила мама. Она ходила взад и вперед.

— Говорят, матери на расстоянии чувствуют все, что творится с их детьми, — сказала Люциндра.

— Она уже неделю так ходит, — сказал Генька.

Во рту у Вандербуля стало сухо и жарко. Он смотрел на мать, похудевшую за эти дни.

Во дворе кричала маленькая девочка тонким печальным голосом:

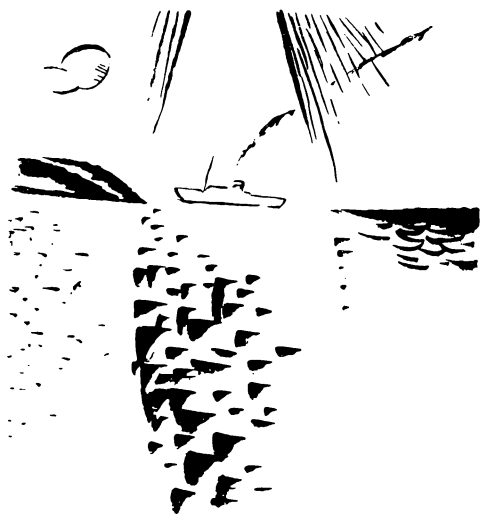
— Мама!

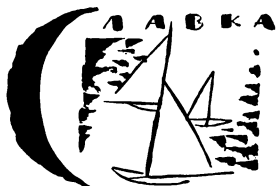
И снова кричала, задрав голову к немоу окну:

— Мамуся!

Вандербуль побежал вниз по лестнице, слыша все время крик девочки:

— Мама!.. Мамуся!..





ЕДУТ НА КОРАБЛЕ ЛЮДИ

Если долго ехать на разном транспорте, то, конечно, в голову может прийти мысль, будто все население страны бросило жилища и пустилось в дорогу.

Кричали поезда в ночи. Их крик будил ребятишек, которые чмокали соски и, наверное, воображали, будто мир — это все, что мелькает, будто дом — это все, что трясется и мчится куда-то вперед.

Поезда бегут по синим рельсам.
Самолеты летят по синему небу.
Корабли идут по синей воде.

Славка сам придумал такие слова. Он поет шепотом, чтобы мама не слышала. Иначе она скажет, что Славка — на редкость бездарный сын. Славка был очень

застенчивым. Он стеснялся даже собственной тени. Он всегда становился так, чтобы тень его не падала на других.

Славка хотел сочинить такие слова, будто есть на земле конечная станция, где сходятся все поезда, пароходы и самолеты. Ведь есть же где-то конец всех дорог.

Славка ехал в купейном вагоне. Летел на самолете АН-2, в котором двенадцать мест.

Теперь Славка ехал на корабле по широкому лиману с желтой водой. На большом пассажирском катере с птичьим названием «Ласточка».

На палубе всякие разговоры.

Толстая женщина с тремя внуками говорит:

— Куда подевались те, настоящие культурные дети? Нету теперь настоящих детей. Я взяла зефир с ленинградского поезда. Теперь я имею чахотку. Эти внуки еще не научились говорить «бабушка», зато они не перестают кричать «дай»... И лучше мне никогда не выйти на пенсию, чем нянчить эти три патефона. У меня от них температура встает!.. — И тут же кидается к своим внукам и вытирает им капризные носы, и кутает их в платки, и сует им лимонад.

Мужчина в фетровой шляпе смотрит на горемычную бабушку и кивает Славкиной маме:

— Одесситка...

«Ну и что? Хорошо это или плохо?» — думает Славка. Он смотрит на одесситку. Она улыбается Славке. Славка улыбается ей. Он готов улыбнуться всем людям.

Славка не одессит, даже не москвич, даже не ленинградец, даже не норильчанин. Славка — кочевник, сын инженера-строителя.

Славкина мама ходит по катеру. Спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, городишко, куда мы плывем, свехотчаянная дыра?

Две тетки в толстых платках лузгают семечки. Они смотрят на маму и застенчиво улыбаются:

— Ни-и... Фруктов много. Рыбы богато... Ничего городок... Очень хороший город.

Мама отворачивается. Она не довольна ответом.

По палубе, через корзины, мешки и ящики лезет подвыпивший старик. В ящиках кричат петухи. В мешках визжат поросята.

На старике надето все новое. Все ему велико, будто

купили навыворот. Пиджак топорщится, брюки топорщатся. И рубашка, и борода, и уши у старика топорщатся. Он похож на пересохшую еловую шишку.

— А я у дочки гостил! — шумит старик. Останавливается возле теток в толстых платках и смеется: — Ух же ж вы бабы! Ух же ж вы серый народ. Ведь некоторые культурные, те лузгают семечки дома. А вы тут всю палубу засорили, ходить скользко.

— Это тебе от вина скользко, — ворчат бабы, но семечки прячут. Стеснительно смотрят на маму.

А Славке весело. Ветер и брызги летят в глаза. Вниз посмотришь — вода возле борта мутная, словно взбурлили красную глину. Посмотришь вдаль — вода голубая, блестящая. Плывут под водой затонувшие облака.

Катер идет мимо островов. В камышах широкие лодки-магуны. Люди высаживают из лодок телят, гонят их хворостиной на острова, чтобы паслись они на приволье целое лето. Телята орут, замочив ноги.

А Славке смешно.

— И чего улыбается, — глянув на него, проворчала мама. — Стоит и улыбается, как дурак какой.

Славка растерянно замигал.

— Рот закрой, — раздраженно сказала мама.

— И не дыши... — Это сказал мальчишка, который лежал на палубе. — И не плюй в воду, и не смотри в небо.

Мама повернулась, чтобы убить мальчишку словами. В это время загудел катер. Он приветствовал другой катер, идущий навстречу. Мамин рот открывается беззвучно и широко. Казалось, мама ловит ртом приветственный крик катеров и захлебывается. Когда гудки смолкли, у нее хватило воздуха на одно только слово:

— Хам!

— Видишь, до чего ты довел свою маму, — спокойно сказал мальчишка. Встал, накинул на плечи голубую спортивную куртку и направился вниз по трапу. Возле корзины остался его зеленый рюкзак. Мальчишка был крепок в плечах, нетороплив в движениях.

— Боже мой, каких только гадостей не наслушаешься на этих проклятых дорогах, — сказала мама.

— Да уж... Так уж... — поддакнул мужчина в фетровой шляпе. — Дорога, она дорога и есть. Особенно дальняя.

МАЛЬЧИШКА В СПОРТИВНОЙ КУРТКЕ

У буфета, под капитанским мостиком, старик пил пиво.

— Хороша у коня шея, да и хомут неплох. — Он приглаживал свой костюм, похлопывал по тощим бокам, поскрипывал заграничными полуботинками.

Славка сошел по трапу вслед за мальчишкой в спортивной куртке.

Мальчишка смотрел на старика и улыбался и как будто подмигивал.

Старик мальчишку не замечал.

Борода у старика белая. Пивная пена теряется в ней, как снег на снегу. Старик говорит молодым, которые тоже теснятся к пиву:

— Не наседайте сзади, бо я как дам спереду! Вот скушаю полкило пива и пойду в домино гулять... Я у дочки у Анны в гостях гостил.

— Вам дочка новый костюм подарила? — спросил мальчишка.

— Ну да. Анна ж мне все дарит и дарит.

Мальчишка снова спросил:

— Где сейчас ваша дочка?

Старик скользнул взглядом по мальчишке.

— Так она ж в Новороссийске, на ответственной должности, — сказал он и встряхнул на ладони медную сдачу.

Старик хотел спрятать ее в карман, но, заметив Славку, что-то долго и грустно смотрел на него, потом вернулся к буфету:

— Р-расступися! Мне надо гостинец купить!

Он протянул Славке целлофановый кулек, в котором лежала вяленая вобла, печенье «Василек», ириски «Золотой ключик» и мармелад.

— Кушай, хлопец, пиво пить тебе еще рано. — Старик прикоснулся к Славкиной голове жесткой, как будто ржавой рукой и пошел в носовой салон, где ехали только курящие.

— А кто он такой? — спросил Славка.

Мальчишка не ответил.

Старик между тем протиснулся в самый нос, где люди в брезентовых штормовых плащах резались в домино.

— Капитаньё! — закричал он. — Допустите ж меня... Меня вам никак в домино не осилить. Меня только пожарники осилить могут. У них времени богато на тренировку.

Люди в штормовых плащах потеснились, уступая старику место. Старик глянул в окно и устало пробормотал:

— Уже, капитаньё. Прибыли.

Катер подошел к серому дебаркадеру, на котором висел большой щит в красно-белую клетку, что на морском языке означает букву «м», или «тихий ход».

Славка повернулся, чтобы идти на палубу к маме. Навстречу спускались люди. Славка едва пробился наверх.

Мама хватала тяжелые чемоданы, сумки, баул, стараясь поднять их все сразу. Она закричала на Славку:

— Где ты болтался?

Славка стоял перед ней с целлофановым пакетом, мям его и не плакал только потому, наверно, что давно разучился плакать.

Мама вырвала у него гостинец.

— А эту гадость зачем купил?

Славка представил, как блестящий пакетик полетит сейчас за борт. Хотел закричать «не смей!», но оробел под маминым взглядом и отвернулся. Он увидел мальчишку с рюкзаком за плечами. Мальчишка подошел к нему.

— В гости или на дачу? — спросил он.

— К отцу, — тихо ответил Славка.

Мальчишка поднял два самых больших чемодана, потащил к сходням.

С катера валом валил народ. Над головами плыли корзины, мешки с поросятами и очумевшие в ящиках петухи. Когда мальчишка опустил чемоданы на землю, пальцы у него не смогли сжаться в кулак. Кожа на ладонях как будто сдвинулась.

Подоспела мама. Сказала:

— Спасибо.

Мама смотрела по сторонам, нервно дергала ремешок сумки, словно торопила свою судьбу. Она поглядывала на мальчишку с беспомощной неприязнью, понимая, что для нее будет лучше, если мальчишка останется.

Мальчишка не уходил.

Когда площадь перед дебаркадером опустела, мама сказала Славке:

— Радуйся... — Потом глухо, словно в подушку, распорядилась: — Хватит. Поедем в гостиницу. — Она стала поднимать и опускать вещи, пытаясь снова взять их все сразу.

— Зачем же так надрываться, — сказал мальчишка. — Сдайте барахло в камеру хранения и шагайте себе с квитанцией. Ехать здесь как будто бы не на чем.

ПОД ГОЛУБОЙ КРЫШЕЙ

Главная улица в городке чистая. Вывощена розовым камнем-булжником. Тротуары из кирпича. Прокаленный кирпич расположен в елочку. Тень от домов, как жидкие чернила, прозрачная.

И по всему городу запах моря.

Свернули к церкви, крашенной от фундамента до крестов серебряной краской.

Вокруг церкви, за железной оградой, разложены на просушку рыбацкие сети.

Мама молчит. Лицо у мамы такое, словно ее обокрали в самый трудный час жизни.

Мальчишка в спортивной куртке идет впереди.

«Мне бы такого брата», — думает Славка. У Славки редкий характер: преимущество не рождает в нем зависти. Он глаза по сторонам. Ему нравится бело-розовый город. Славка хочет спросить, как зовут мальчишку, но смелости у Славки не хватает; он только шевелит губами. Мама смотрит на него подозрительно.

В маленькой гостинице мест не было.

— Та ж понаехало командировочных, — пела дежурная. — Чего людям дома не можется, так скрозь и едут, и едут...

Мама заплакала.

— Мальчонку-то я бы могла поместить, — извиняясь, пробормотала дежурная. — Я бы его к этому худенькому подложила... — Она ткнула пальцем в тощего близо-

рукого парня. — А тебя же ж мне некуда деть. Женское помещение скрозь мужиками забито...

Мама плакала, уронив голову на руки. Вокруг нее смущенно стояли командировочные в полосатых пижамах. Они утешали маму советами. Они ей сочувствовали. Только мальчишка в голубой куртке сказал прямо:

— Глупости. Было бы из-за чего слезы тратить. Сидите и никуда не трогайтесь. Я найду вам жилище.

Мама послушно кивнула.

Мальчишка подтолкнул Славку к двери.

— Пойдем к моему дядюшке. Он вас приютит.

Славка обрадовался, подумал, что вот и представился замечательный случай.

— Пойдем, — сказал он.

В проулке шагал старик, который подарил Славке гостинец. Он вытягивал шею, словно хотел вылезти из своей новой одежды. Словно она скорлупа. Старик пел:

Задула фуртуна на море.
Ой, люто задула!

Последние слова он пропел так громко, что из-за церковной ограды выскочила старуха в черной клетчатой шали.

— Куда тебя черт тащит?! — закричала она.

Старик остановился, подергал усами.

— Отскожь с моего пути! — сказал он воинственно. — Слышь, отскожь в сторону!

Старуха зашлась от злости.

— Повертывай назад! — бушевала она. — Тут храм, а ты своим винищем весь воздух позаражал!

Старик прикрыл рот рукой.

— Слушай ты, старая птица, — сказал он вдруг дружелюбно, — давай мне три рубля, я тогда обойду церковь хоть вокруг рыбзавода. А не дашь, — он двинулся на старуху, — я прямо в церковь войду и стану там моряцкие песни шуметь.

Старуха сунула ему под нос костлявый кукиш.

— На-кось! — заголосила она. — Умный! За три-то рубля я тебе сама где хочешь спую. Спляшу даже.

— Тогда отскожь, — мрачно заявил старик. — Геть! Не заслоняй мою прямую дорогу!.. — Он отстранил старуху и пошел вдоль ограды, выводя слова своей песни:

Задула фуртуна на море —
Рваные паруса...

— Старое ты будылье! — крикнула старуха. — Рыбий ты караульщик!

Славка заметил, как изменилось лицо мальчишки, дрогнули твердые мальчишкины губы. «Да что с ним?» — подумал Славка.

Мальчишка сказал:

— Беги, зови свою мамашу.

Когда Славка с мамой прибежали, мальчишка в спортивной куртке подошел к старику. Он почтительно поздоровался. Сказал, погода:

— Дед Власенко, возьмите хороших людей, — им ночевать негде.

Старик даже не обернулся. Махнул рукой, чуть не сбив с головы фуражку.

— Пускай идут... У меня же ж хата обширная. Хата моя под голубой крышей. Весь мир моя хата. Где хочу, там и прилягу.

Мама остановилась, повернула к мальчишке осунувшееся лицо.

— Идите, — сказал мальчишка. — Ну, идите же! Вас человек к себе в дом ведет.

Славка взял маму за руку, и они пошли за стариком.

БАБКА МАРИЯ

Старик шагал по шатким деревянным мосткам, мимо садов. Он громко шумел свои песни.

Толкнув локтем калитку, он вошел в небольшой сад. Под деревьями земля черно-синяя. Только возле заборов растет трава. За деревьями хата. Черепичная крыша у нее набекрень. Вокруг насыпана дорожка из мелких чистых ракушек. У дверей вместо половика старая сеть. Хата похожа на старика — веселая хата.

Старик остановился в садочке и вдруг заорал испуганным голосом:

— Бабка Мария! Чего ж вы сидите? Хата горит!

Низкая крашеная дверь распахнулась. На порог выскочила старушка в переднике. Глаза испуганные. Шу-

рятся. Старик спрятался за дверь и захихикал. Говорит:

— Шутю...

— Чтоб вас, старый козел, — беззлобно проворчала старушка.

Увидела Славку с мамой и всплеснула руками.

— Никак Анна?

— Хиба ж Анна такая? — возразил старик. — Анна покрепче будет. — Потом откашлялся, объяснил солидно: — Это мои знакомцы. Им, Мария, ночевать негде.

Старушка оглядела гостей.

— Здравствуйте, — сказала она. — Проходите, пожалуйста.

Она провела маму и Славку в большую прохладную комнату с крашеным полом.

— Мы вас в зале положим, — говорила она. — Вот тут. Тут воздух свежий. Кровать мягкая, и диван новый...

Дед Власенко просунулся в комнату, похвастал:

— Анна мне такой диван бархатный справила, дочка моя.

Старушка нахмурилась.

— Не дышите тут. Людям спать, а вы вином дышите.

— А они, может, кушать хотят, — ехидно сказал старик.

— Нет, что вы, — ответила мама. — Спасибо.

Она села на стул и уставилась в угол, на большую икону, перевитую сухими цветами. Губы у мамы медленно двигались.

Старушка посмотрела на нее удивленно.

— Ты, девка, никак молишься?

Мама вздрогнула.

— Нет, — сказала она. — Что вы...

Старушка пошла к двери тихо, почти бесшумно.

— И то... Без толку молиться, без числа согрешить...

Она положила Славке на плечо мягкую руку, подтолкнула его вон из комнаты.

— Пусть мамка одна побудет. Ступай, хлопец, в кухню.

Славка сам хотел уйти. Он знал: когда у мамы шевелятся губы, — значит, она придумывает гневные фразы, которые с выражением, словно стихи, выскажет при встрече отцу. Славка подумал: «Люди очень любят

говорить вслух, но еще больше любят говорить про себя. Про себя они спорят с кем хочешь и всегда побеждают».

На кухне бабка Мария сдержанно и негромко напустилась на старика:

— Василий, сгорят у вас кишки синим огнем.

— Не бухкотите, Мария,— возразил старик.— Я только один килограмм вина выпил и кружку пива. Только глаза залил, а во внутренности даже и не попало.

Старуха вздохнула.

— Глаза, им границы нету. Лучше бы вы, Василий, в домино гуляли. Старый вы теперь для вина человек.

— У меня такое мнение, будто вы меня отпеваετε.— Старик подергал сивыми бровями, спросил обиженно:— Мария, я замечаю, вам про дочку мою, Анну, узнать совсем не интересно. Как она в Новороссийске живет. А она, между прочим, вам поклон посылала...— Старик встал из-за стола и поклонился, отведя руку в сторону.

Старуха поджала губы. Потом заговорила тоже с обидой:

— Я у вас про Анну и не желаю сейчас пытаться. Вы станете только хвастать зазря и ничего мне толком не объясните.

Старик засопел, словно ему вдруг заложило нос. Он глядел на старуху то сердито, то снисходительно. Потом глаза у него подобрели, в них появились смешливые огоньки, которые побежали по всему лицу, по всем стариковским морщинам.

Поев, старик залез на кровать и затих, выставив бороду вверх, как антенну.

Славка хлебал уху, которую старик Власенко называл щербой. Ел ватрушку, которую бабка Мария называла плачиндой. Было ему тепло и свободно. Славка думал, что больше всего на свете он теперь любит щербу и плачинду.

Бабка Мария убирала посуду.

— Ты, хлопец, не думай на деда,— тихо говорила она разморенному Славке.— Он не какой-нибудь пьяница там, мазурик. Он с шести лет рыбалит. У него аж кости от ревматизма черные. Выпьет килограмм вина для здоровья. Ему, старику, иногда можно.

— А я ведь, Мария, не пьяный, — сказал старик неожиданно ровным и грустным голосом. — Я ведь, Мария, только самую малость, для запаха. Я по другой причине хвораю... Вот ехал на пароходе. На самолете летел. Кругом люди шуршат. Бегут за своим делом. Мне, Мария, вдруг показалось, что ни к чему я уже. Умру, и никто не вздрогнет. Мабуть, Анна, да еще вот ты, Мария Андреевна... Вот я и шумел, приткось свою показывал. Я ведь теперь, как тот «Шура»... — Старик засмеялся, будто закашлял.

— У нас на рыбзаводе такой буксир имелся. По имени «Шура». Три дня паров набирал, только чтоб загудеть. А гудок у него самый шумный на всем побережье. Как загудит «Шура», аж задрожит весь. Потом три дня набирает паров, чтобы отвалить от пирса. А как уж он по воде ходил, на какой силе, этого и сам бог в свою голову не возьмет. Теперь того «Шуры» нету, теперь он вроде как баржа. А говорят, раньше, в мирное время, лихой буксир был...

Старик повернулся к стене. Спина у него была костлявая и упрямая.

— Не приедет Анна, — грустно забормотал он. — Ненужный я теперь для нее.

Бабка Мария наклонилась над столом. В ее голосе тоже была грусть.

— Не для того она и училась, чтобы без дела к нам ездить. У нее сейчас заботы-то обо всех. Ученая, с нее и спрос велик.

Бабка Мария смотрела в окно, за которым ничего не было.

— Вырастают дети плохие — и думают, что родители в том виноваты. Вырастают дети хорошие — и думают, что родители тут ни при чем...

Славка тоже посмотрел в окно, за которым ничего не было, и уснул. Во сне он увидел ту конечную станцию, где сходятся все пути и дороги. Она выпирала из земли бугром, вся утыканная домами. Топорщились небоскребы. Исаакиевский собор, Кремль, Эйфелева башня — самые красивые сооружения, которые Славке приходилось видеть на картинках. Вокруг стояли поезда, пароходы, самолеты. Они громко трубили. Им не терпелось ехать куда-то дальше.

УТРОМ НА БАЗАРЕ

— Вставай, хлопец, день уже окна выламывает, а ты все подушку сосешь.

Славка вскочил. Поплескал холодной воды в глаза.

Мама и бабка Мария пили в кухне чай.

— Отца не ищи, — наказала мама. — Пускай хоть однажды он сам нас поищет.

— Пошли, хлопец, со мной на службу, — предложил дед. — Тут женщины меж собой побеседуют, мабуть, разберутся сообща в вашем деле. Тебе дамские разговоры понимать не надо.

— Иди, — коротко разрешила мама.

Городок согревало солнце. Ветер смешивал запахи пашен, открытых хлевов и моря в один сильный и теплый запах.

Со стариком Власенко здоровались прохожие, все больше пожилые, неторопливые. Со Славкой тоже здоровались.

Славка думал о вчерашнем мальчишке в спортивной куртке. Он тарасился по сторонам, надеясь на встречу. Он представлял, как протянет руку ему. Скажет: «Привет! Как дела?» И мальчишка ему ответит: «Привет! Как дела?!» Они поговорят и пойдут вместе. Славка даже сделал намек старику, спросив:

— Где же в вашем городе ребята? — Может быть, старик Василий вспомнит мальчишку и чего-нибудь скажет о нем.

— Молодые ж кто где, — объяснил старик. — Которые в море на сейнерах, которые на рыбзаводе или там на консервном. Они на работе все чисто. Утром в городе старики власть берут. — Он остановился, посмотрел в даль сквозных бело-розовых улиц. — Когда капитан Илья пригонит из Одессы флотилию, город совсем опустеет. Все побегут в Африку. Все чисто.

Дед Власенко шел на рынок.

— Это моя общественная служба, — говорил он. — Я — рыбнадзор от народа. Рыбак тоже бывает разный. Иной надергает недозволенной рыбы и подзаныр ее — продаст на базаре.

— Маломерку выловят, — и большая ловиться не будет, — рассказывал он по дороге. — Это дело везде по-разному называется. В Крыму говорят — муган. У нас —

подзаныр. По закону — браконьерство. А что касается меня, то я такому рыбаку в глаза плюну.

Славка вертел головой, рассматривал город. В центре были каменные дома, трехэтажные и четырехэтажные.

В витрине «Госфото» висели подкрашенные портреты.

— Здесь мой знакомец Яша Коган работает, — уважительно похвастал дед Власенко. — Он теперь тоже старый. Уже который год на ощупь снимает.

В витрине универмага, среди пальто и велосипедов, были разостланы картины. На одной — Максим Горький в широкой шляпе, на другой — Суворов, весь в орденах... На бланках, приколотых к картинам, значилось: «Наименование — «Картина Горького». Цена за один метр 15 рублей».

Метр Суворова стоил на пять рублей дороже.

Славка спросил у деда:

— Почему разница?

Дед поскреб бороду, шевельнул сивой бровью.

— Я, хлопец, в рисовании мало чего понимаю. Может, на Суворова больше краски пошло, у него одних орденов вон сколько.

Старик Власенко с грустью подмигнул полководцу, сказал задумчиво:

— В большом возрасте был человек, а тоже вон какой бойкий... — и заспешил к рынку.

В начале лета на базарах народу мало. Что продают? Старую кукурузу продают, муку, молодых поросят. Еще торгуют рыбой: бычками, ершами, барабулькой. Некоторые привозят из плавней судаков и лещей. А есть и такие купцы, что держат для покупателей красный товар под прилавком: молодую севрюжину, осетра и белугу. Специально для этих купцов каждое утро приходил на рынок дед Власенко.

Рыбой торгуют все больше женщины. Рыбаку самому торговать неудобно, да и времени жаль.

— Здорово, купчихи! — зашумел дед. — Похвастайте же вашим товаром. Очень я люблю рыбный дух нюхать.

Иные женщины почтительно здоровались со стариком, иные начинали брюзжать, обижаться. А которые помоложе — смеялись. Дед тоже смеялся, разводил руками.

— Дюже у нас девки хороши. Дюже красивые. Болгары страдают, у них завсегда невест нехватка. Нехай

бы к нам ехали. Или японцы... Ксанка, пошла бы за японца?

Крепкая, широкая в плечах Ксанка замахнулась судаком.

— Очумели вы совсем. Вы ж на моей свадьбе вино пили.

— Прости, девка, забыл, — извинился дед. — Вы для меня теперь все друг на друга похожие... А ну, покажи товар.

Ксанка сняла с корзины кусок сети.

— Ровная рыба, — похвалил дед. — Сердечный рыбак ловил. Мужик твой?

— Батька, — ответила Ксанка, вздохнув. — Чи у вас память помутилась, дед Власенко, чи вы насмехаетесь? Я уж давно как вдова...

— Извини, девка... — Старик сокрушенно почмокал, покачал головой и полез дальше по ряду. Остановился он перед высокой старухой в черной клетчатой шали, с которой скандалил возле церковной ограды.

Старуха прикрыла глаза и принялась вздыхать, бормоча:

— Чи ты белужий родственник или тот водяной черт?

— И когда у тебя язык сотрется? — рассердился дед Власенко. — Я у тебя осетров отымал?

— Так не моя же та рыба, — громче заворчала старуха. — Просят люди продать — я продаю. Ее ж ведь в море не выбросишь, все одно она уже дохлая... А моя рыба вот — бычки... Свежие бычки и ерши! — заголосила старуха на весь базар, расхваливая свою рыбу. — Красивые ерши... — Она ткнула пальцем в старика и добавила: — Ось такие, как он, страхолюды.

— Арестую я тебя, Ольга, за твои вредные действия, — пригрозил старик.

Старуха сунула руки в карманы передника. Втянула воздух в себя, словно целый день не дышала, и принялась честить старика Власенко со всех сторон.

— Злыдень ты окаянный! — кричала она. — Сам рыбалить не можешь, потому и лазаешь по базару из зависти. Нахлебник ты для государства и тараканий пастух. Другой бы на твоём месте хоть удочкой промышлял. Смотреть на тебя дюже тоскливо. С души воротит... Марию, горячую вдову, ты хитростью к себе заманил и на себя работать заставил. Чтоб тебе, без-

дельнику старому, пусто было! И чтобы на том свете рыбаки тебя в свою компанию не приняли! — Старуха вдруг подбоченилась и сказала: — Я же знаю, зачем ты на базар ходишь. На меня смотреть. Ты же ж ведь, старый пень, в меня всю жизнь влюбленный. А мне на тебя — тьфу! Ты ж для меня пустое пространство...

Девки и молодухи хохотали. Даже некоторые пожилые не сдерживали улыбок. Но Славка заметил, что в смехе рыбацек не было одобрения.

— Мозгов бы тебе поболе, — сказал старухе дед Влащенко. — Душа твоя медная.

МОРЕ НА ГОРИЗОНТЕ

Старик шел насупясь. Лохматые брови, как козырек, прикрывали ему пол-лица.

— Каждый день с нею воюю, — сказал он, стараясь придать своему голосу ровность. — До чего же темная баба. Брешет и брешет...

Вышли на берег.

Море горело на горизонте нестерпимым огнем.

— Разве вам бабушка Мария не жена? — спросил Славка. — Она вас на «вы» называет.

Старик насупился еще больше.

— Нет... Мария — вдова моего сотоварища. Мой сотоварищ Егор погиб, когда большая фуртуна была — шторм дюже сильный. Он с сыном пошел ставной невод спасать... Море их вместе забрало. Обоих... — Старик замолчал, засопел в усы.

— А ейный сын Митя, старший, тот в Севастополе смерть нашел. Митино имя там на камне написано... Не может Мария в своей хате жить. Плачет она там дюже.

Грустно стало Славке. Потому что не мог он в этом деле оказать помощь. Да в таких делах никто уж помочь не может.

— Та вредная старуха Ольга — она же ж моею невестой была. — Старик хлопнул себя рукой по боку.

— Какой я дурак был... Пела она, Ольга, дюже красиво. Голос у нее такой замечательный, изнутри... — И все еще сердито, но уже тише, добавил: — Меня Сера-

фина от нее отвела... Вот это ж была девка, моя Се-
рафина...

На берегу двое бородатых рыбаков толкали в море
смоляную лодку. Они замахали старику. Закричали:

— Дед Власенко, кончай сторожбу! Пошли крючья
ставить. И хлопца бери. Бригаду организуем.

На шеях у рыбаков — женские косынки. Брюки под-
поясаны обрывками сети. На ногах — брезентовые чулки
до колен и кожаные постолы.

Старик отвернулся, стал кашлять от дыма.

— Может быть, сходим, дед Власенко, — вдруг ска-
зал Славка. — Может, поймает, чтобы та старуха язык
прикусила.

Дед прохрипел:

— Куда тебе, хлопец. Ты для этого дюже хрупкий,
как камышина... Видишь? — он кивнул в море на рыба-
ков. — Рыбаки же чисто разбойники. Рожи от комаров
пораспухли, все в смоле, только усищи топорщатся...
Да и я тоже. Какой я нынче рыбак... — Он показал
руки с искривленными, раздутыми в суставах пальца-
ми. — Сейчас, хлопец, техника... — Старик усмехнулся
вдруг. Покачал головой.

— В молодости я белугу в четыреста килограммов
один на один взял. Одной икры восемьдесят кило. И сей-
час еще об этом старики говорят. Потому что не вся-
кому рыбаку так случается... Рыбак в одиночку взять
рыбину в сто килограммов может, а если больше — уже
вдвоем.

Они подошли к затону.

Старик ушел со своим сменщиком, таким же старым,
в книге расписывагсья. Пока они в сторожке курили,
Славка смотрел в море. В горячее сверкание солнца,
в даль, которая кончается на горизонте для глаз, слов-
но прячет свою обширную тайну от всех неподвижных и
нелюбопытных.

На свае, неподалеку от берега, сидела девчонка
с удочкой. На ней были мальчишеские вельветовые шта-
ны, белая косынка с голубым горохом и красная кофта.
Она сидела как раз на дорожке, проложенной по воде
солнцем.

Славка устроился на скамейке возле ворот. Старик
Власенко вылез из сторожки, тоже принялся смотреть
в море.



Они долго молчали и, наверно, думали об одном, потому что старик отвернулся, словно его подслушали, когда Славка сказал:

— Дед, а мы не будем большую ловить. Наловим маленькой. Удочками.

— Чи я курортник какой? — засопел старик. — Меня рыбаки с той тросточкой увидят, по всему морю смех побежит, аж до Турции... Удочкой... — ворчал старик. Он сердился и сам себя распалял. — Чи мне колхоз пайка не дает? Чи я другого чего не могу? Я, может, в колхозе главным консультантом сейчас значусь. И общественную должность справляю. И затон сторожу... — Он вдруг закричал, широко раскрывая усатый рот: — Не слухай ты старую ведьму! Ольгу! Я для государства рыбы наловил поболее, чем она воздуху надышала! — Старик долго шевелил губами. Бросал на Славку сердитые взгляды.

— Расстроил ты меня. Я ж в прошлом году пробовал. Ловил... Кабы та Ольга про это дело прослышала, она бы меня своим языком в горох раскатала.

„КРАСНАЯ РЫБА“

— В прошлом году приехал к нам художник один из столицы. Чистый такой гражданин. Не старый еще — годов пятьдесят. Все рыбаков рисовал для картины. И все восхищался. И меня рисовал. Очень хотел он поймать белугу. Только все неудача случалась. Осень. У нас по осени белуга худо берет.

Тогда он ко мне.

— Василий Тимофеевич, — говорит, — окажи помощь. — Он уже и на сейнерах ходил и на тральщике. — Теперь, — говорит, — мне очень нужна борьба. Чтобы рыбак показал себя в чистой своей красоте.

Я его посылал к молодым. Объяснял: не могу, мол, от ревматизма страдаю дюже. Руки не владеют.

Тогда он мне говорит, мол, на всех картинах сейчас молодежь. Но я, говорит, мечтаю показать стариков, самый корень. Этим, говорит, я гордость утешу. И будет это правда...

— А вы, — говорит, — Василий Тимофеевич, поймаете вашу последнюю рыбу. Потому что, — говорит, — человек должен уходить из общей рабочей жизни через последний свой подвиг. И будет это красиво.

Я цельную ночь не спал, все думал над его словами.

Потом пошел к председателю, попросил снасть — крючья на красную рыбу. Тысячу штук.

Поставили мы те крючья с тем художником в одном ловком месте, напротив шпиля, мысочка такого. Там взорванные германские баржи на дне. Белуга любит об эти баржи бока тереть.

Я думаю: не ошибиться бы. И тут же думаю: если бы старики не ошибались, молодым бы правды не знать.

Ночь переждали. Художник меня карандашом в блокнот зарисовал. Как я курю, как я портянку переобуваю, снаряжаюсь. Еще не развиднелось, пошли проверять крючья. Он на бабайках сидит — на веслах, по-вашему. Я снасть выбираю. Уже боле пятисот крючков проверил, две камбалы снял, осетришку — с локоть — выпустил. Море как постный суп — ни пятна на поверхности. Говорю художнику:

— Поймали мы с тобой на сей раз бугая.

Бугая поймать — это значит пустым воротиться. Вдруг чую — ведет.

— Ага, — говорю, — сидит, родимая. Мабуть, килограммов на двести.

Я с ней вожусь, подтягиваю потихоньку. Деликатно. Бо с нею грубости не должно. Ее крючьями порвать можно, а это значит — брак и второй сорт.

Белугу, ее как берут? Темляком. Багорчик такой на веревке. Потом ее чикушить надо. Чикушка такая есть, как бучка — дубинка, что ль. Оглушишь чикушкой, веревку ей в рот и под жабры.

Она от меня уходит. Я ее отпускаю — иди... Ведь сколько часов с иной рыбой проводишься, пока притомится. А художник так взволновался, елозит по скамейке туда-сюда. Побледнел от азарту.

Говорит:

— Давай, дед, я в воду прыгну, подведу рыбу к лодке.

Я ему:

— Чи вы дите малое? Она ж вас потрет. У нее шипы на боках. Вы ж, говорю, человек ученый.

Тут рыба сама подошла. Близенько так.

Художник схватил скамейку. Ударил, да локтем о борт. Скамейка в воздух.

Я рыбу захватил темляком. Кричу:

— Гребите!

А он где? Локоть чешет.

Рыба как даст коловерт хвостом, хвост у нее что твой винт пароходный, и вглыбь. Я не успел выпустить темляк, руки-то теперь не враз сгибаются, и за борт. Вода будто лед. И тут мне боль в спину. Я чуть в воде деву Марию не закричал. Рыба стряхнула с себя темляк, а он, железяка, прямо мне в спину впился. Рыба здоровая... Веревка от темляка обмоталась вокруг ейного хвоста. Она меня треплет и топит.

Думаю: «Отрыбалил ты, старый хрен. Показал свою гордость». Это я и взаправду подумал. Но извернулся, вырвал темляк. Всплыл на поверхность.

Лодка перевернутая. Художник сидит верхом на киле, ноги под себя забрал, опасается, как бы рыбина их не потеряла. На поверхности его карандаши и альбомы с портретами плавают и скамейка.

Я ему гукнул:

— Тут я... полезай ко мне!

Не лезет!

— Полезай! — кричу. — Нето я тебя вдарю этой скамейкой.

Вдвоем подтянули лодку к отмели. Перевернули на киль. Воду вычерпали. И домой.

Художник сел в кормочку. Замерзает. Я ему клеенку дал. А он просит:

— Ради бога, Василий, голубчик, гребь побыстрее.

Кабы я быстрее мог. У меня кусок мяса выворочен и кровь по спине плывет. На каждом гребке деву Марию кричу...

Еще до берега не дошли, а тот художник как схватился по мелкой воде и бежать...

СНОВА МАЛЬЧИШКА В СПОРТИВНОЙ КУРТКЕ

Старик и Славка долгое время сидели молча. Старик иногда поднимался к воротам, чтобы открыть их, впустить в затон грузовик. Славка смотрел в море.

Море слепило глаза. Черные сваи словно висели в воздухе на сверкающих нитях. На сваях еще совсем недавно сидела девчонка, а сейчас никого...

Старик подтолкнул Славку локтем. Сказал:

— Слухай...

Славка прислушался. Разные звуки полезли ему в уши: и шорох волны по песку, и гудок далекого парохода, и заглушенный стук машин. Какие-то крики долетали до него со стороны города.

Старик Власенко поднялся.

— Вот скаженна трава... Я ж говорю, нет у них совести и не вырастет... — и побежал в затон.

— Геть! — зашумел он там. — Нешто вам слов мало? Я же вас каждый день выгоняю!

Славка вскочил, хотел бежать к воротам на помощь деду. Но тут из-под забора показалась девчонка, голова в белой косынке с голубым горохом.

— Эй, — сказала девчонка. — Прими-ка... Ну, бери, чего рот раскрыл.

Девчонка протянула Славке короткую удочку. Славка растерялся. Взял удочку и стоит.

— Споймаю! — шумел за забором дед Власенко. — Или вам моря мало? Или вы не понимаете запрещенную территорию?!

Девчонка с трудом проползла под забором. Разорвала на спине красную кофту.

— И чего шумит? — проворчала она, отряхиваясь. — Строгость наводит... Кофту из-за него порвала...

— Ничего, — утешил ее Славка. — Это зашить можно. Из ворот выскочил запыхавшийся дед.

— Держи! — крикнул он и почти упал на скамейку. — Сердце зашлось... Задышка... Совсем бегать отвык... Держи ее!

Славка растерянно улыбнулся.

Девчонка вырвала у него удочку, отошла на шаг и сказала деду:

— Чтоб он меня задержал? Вы, дед, чи слепые теперь совсем, чи вам голову напекло. Я ж вашего хлопца на наживку раздергаю, как гу зеленуху.

Дед нахмурился, оглядел девчонку и спросил недовольно:

— Ты кто есть?

— Хе, — засмеялась девчонка. — Вы ж меня знаете. Варька я, механика Петра дочка, который с «Двадцатки». Мы ж у вас жили, когда батька хату спалил.

Славка переминался с ноги на ногу. Девчонка ему очень нравилась. Была она года на три старше его и в плечах пошире. И одета была по-особенному.

— Слухай сюда, — сказал дед. — Значит, это я про тебя думал. Гадаю, что за человек на сваях прирос. Каждый день тягает бычков, будто на работу приходит. Куда тебе такое количество рыбы?

Девчонка насупилась.

— Дед, а зачем вам чужие заботы?

— Без забот жизнь скучная, — сказал дед. — Ответь, зачем в брюках ходишь?

— Так платя же тонкие, враз рвутся.

Дед прислушался, наострив ухо. Вскочил, чтобы ловить нового нарушителя. Но ловить не пришлось.

Из затона вышел вчерашний мальчишка. Славка едва узнал его. Узнав, крикнул:

— Ой! — и обрадовался.

Мальчишка был в одних трусах. Весь загорелый. «Когда успел загореть? — подумал Славка. — Наверно, в апреле лазал на крышу, лежал на железе за трубами».

Старик открыл широкий, усатый, как у ерша, рот. С минуту в нем хлопотала и хрипела досада.

— Я ж тебя, чертячий хвост, через милицию улеку. Откуда ты появился?

— Оттуда, — сказал мальчишка.

— Вот ведь народ какой: в дверь выгонишь, они в окна влезут. Вы и на самолет с воздуха заскочите, как те микробы. Должность у вас такая. Десантники вы, блошиное племя.

Мальчишка подмигнул Славке, как закадычному другу. Потом повернулся к девчонке.

— Здравствуй, Сонета. — Он протянул ей руку.

Девчонка руки не взяла.

— Чисто дикарь, — проворчала она. — Срам смотреть.

Старик Власенко замахал руками:

— Ответь, стрючок черномазый, что в затоне делал?

— Вас разыскивал, — улыбнулся мальчишка.

— А чего меня искать? Вот я.

Мальчишка подошел ближе.

— Дед Власенко, неужели не узнаете? Я ж Васька.

Стариковы глаза ухватили мальчишку, сощурились.

— Вроде не врешь. — Старик приоткрыл рот и весь засветился в улыбке. — Васька! Ну, стрючок, до чего вырос. А я сгадаваю, чего ты не едешь, может, куда в другое место надумал... — Старик взял мальчишку за плечи. Провел пальцами по волосам. — А ты вот приехал...

Мальчишка застенчиво улыбался, трогал дедову руку своей рукой.

У Славки защемило в носу. Ему вдруг очень захотелось, чтобы старик посмотрел на него. Но дед Власенко повернулся к нему спиной. Девчонка кривила губы в усмешке.

— Глупые, как телята, — сказала она.

Старик сел на скамейку. Вскочил тут же, подтолкнул мальчишку к воротам, пустил на запретную территорию, откуда с таким старанием изгонял ребят.

Славка смотрел на пустую скамейку.

— Может, он ему внук? — спросил Славка.

Девчонка сказала:

— Нет у него внуков. Этот Васька капитана Ильи племянник. Каждое лето сюда приезжает из Ленинграда. Нахал.

НЕМНОГО О ВАСЬКЕ

Вчера, пристроив Славку и его мамашу, Васька побежал к дядюшке. Дядюшка сообщил в письме, что получил новую квартиру у рыбзавода.

Он отыскал дядин дом. Трехэтажный. Стандартный. Шиферная белесая крыша. Ржавые потеки вдоль водосточных труб. На балконах вялится рыба.

Васька поднялся по лестнице, позвонил в шестую квартиру: здравствуйте, дядя, я ваш племянник...

Позвонил еще раз — за дверью ни звука. На площадке крашеный пол. Чистый-чистый. Коричнево-красный. Васька хотел позвонить еще, но распахнулась дверь соседней квартиры. Крутоплечая и широкая, появилась на пороге женщина.

— А-а, вы приехали, — пропела она, как любимому родственнику. Обернулась, крикнула: — Нинка, посади

Николая на горшок. Неси ключ с комода! — И опять Ваське: — Может, покушаете у нас? Илья Константинович-то в Одессе.

Вышла Нинка. Ростом не достает до дверной ручки. Лицо — сплошная забота, словно она главная в доме труженица.

— У нас борщ с салом и пирог с судаком, — заявила Нинка.

Васька проглотил слюну и соврал по привычке:

— Спасибо, я недавно обедал.

Нинка дернула хитрым носом.

— Ой, врет, — сказала она.

Женщина проводила Ваську в квартиру. От ее босых ног на полу, подернутом пылью, оставались следы. Пол крашен блестящей краской, следы от этого кажутся влажными.

— Илья Константинович вам все в письме написал, — говорила соседка. — А вот это вам деньги. А вон там кран в кухне и полотенце. Когда умоетесь, приходите борща покушать.

Она ушла, унеся с собой нестерпимо вкусные запахи.

«...Я пробуду в Одессе долго, — писал дядя. — Поживешь один. Питайся в столовой — привыкай. Не хватает денег, — пойди на элеватор к начальнику стройки Александру Степановичу. Короче, побывай у него сразу. Дядя».

На кухне протекает кран. Пустая квартира наполнена этим звуком.

За окном беспредельное небо. Оно утончается к горизонту, словно льется туда, за изгиб земли.

Васька плюнул. Это противоестественно — пустая квартира! Он распахнул окно. Шумно сел на диван.

— Здравствуйте, дядя, я приехал.

«Приехал?» — спросила квартира.

— Ага, — сказал Васька.

«Ага», -- сказала квартира.

...Васька растянулся на диване, задрал ногу на ногу.

В дверях появилась соседская Нинка. Она держала сиреневатую сиамскую кошку с голубыми глазами. У кошки были черные уши и черные кончики лап.

Нинке не понравилась Васькина поза.

— Мужики все такие, — сказала она. — Мужики порядка не ценят. Им бы скорее ноги задрать... Идите борщ кушать. — Нинка подтащила Васькин рюкзак в угол. — Я тут за порядком смотрю. Дома ж нельзя — Николай сразу нарушит... Сейчас по всей квартире на горшке ездит.

Кошка полезла с Нинкиных рук на диван.

— У нее есть котята? — спросил Васька.

— Нету, она кусачая. У кусачих кошек котят не бывает... Ее курортники летошним годом у нас оставили. Она ихнюю тетю царапала. Как увидит, так и царапает. Совсем была дурочка.

Ваське не хотелось вставать. Ему хотелось поговорить с Нинкой.

— Не знаешь, скоро дядя приедет?

— Ни-и... — помотала головой Нинка. — Чего ж скоро-то. Он там флотилию получает. Сколько добра погрузить нужно: и снасти, и бочки, и соль, и продукты для плавания, и всякого другого запаса. Пригонят сюда корабли, наберут команды и в Африку побегут за тунцом. И мой батяка побежит. И капитан Кузнец. — Нинка уставилась в текучее небо, в темнеющую глубину. — Мужики, они ж не сидят дома. Они же ж морем заговоренные. — Она вздохнула вдруг, прижала кошку к себе. — У нас тут все морем заговоренные... Идемте борща кушать. Остыл, поди.

Отяжелев от борща, Васька пошел в город. Город за зиму не изменился, лишь на главной улице вырос еще один каменный дом — клуб рыбзавода.

На улицах свободно шумели люди. Парни гордились перед девушками — нарядные, в твердых мичманках. Старухи шли под деревьями — темные, в белых платках. Старики курили возле своих калиток — костлявые, грубошерстные. От девчат сигаретами пахнет, дешевым вином. От старух тянет кухней. У стариков самый крепкий дух — смолистый, махорочный, злой. Добродушно поглядывают старики. И от всех им почтенье.

Вдоль улиц гулял сладкий ветер. Он принимал в садах к завязям и цветам, как старательный шмель, напивавшийся нектаром и, охмелевший, толкался по городу.

В темных окнах школы отражается небо. Кажется, что не окна это совсем, а сквозные дыры. Только два окна в первом этаже освещенные. Кто-то играет там на рояле, наверно, Сонета.

Васька уцепился руками за выступ стены, стал на цоколь и, подтянувшись, взобрался на подоконник. В пустом классе за роялем сидела Варька. Коса у нее стала еще толще — в руку не заберешь. Варька играла, закусив губу.

— Не получал еще? — сказала она, увидев Ваську.— Тогда проваливай колобком. Зритель нашелся.

— Позлись, позлись, я послушаю, — ответил ей Васька. — Ведь целую зиму не виделись.

Варька встала.

— И до чего же люди говорить любят. — Подошла и резко захлопнула окно.

Васька упал на землю.

— Не ушиблись? — услышал он тихий вопрос.

На дороге стояла Нинка.

— Не знаете, почему Варьку Сонетой зовут? — спросила она. В ее голосе были неодобрение и зависть. — И еще Скарпенной — такая рыба у нас ядовитая. — Нинка пошла вперед, потряхивая косичкой. — Бабка у Сонеты — ведьма. — Нинка остановилась, посмотрела на Ваську как старшая. — Вы не вздумайте в Варьку влюбиться. Она же ж и не заметит.

Васька взял Нинку за плечи.

— Беги домой. Я на элеватор схожу...

Нинка отошла чуть. Глянула на него исподлобья.

— Влюбились?

— Да иди ты, — сказал Васька.

Нинка прыгнула через канаву. Васька смотрел, как пляшет и тает в сумерках ее светлое платье.

Он вышел к лиману. Из темноты от буюв бегут разноцветные тропки. Волна дробит их, выносит на берег искрящимся щебнем. Темно.

У деревянного пирса толпятся холодные катера, дубки и фелюги. На рейде колышутся рефрижератор, танкер, самоходная баржа. Отражения сигнальных огней тонут в лимане. Кажется, будто стоят корабли на светящихся тонких столбах, желтых, зеленых и красных...

ВСТРЕТИЛИСЬ МАМА И ПАПА

Славкин отец, Александр Степанович, появился в своей семье вечером. Мама встретила его в большой комнате, которую бабка Мария называет залой. Мама оделась в новое платье. Помада на ее губах бледно лиловая, с восковым блеском. Глаза скошены к вискам подрисовкой. Причесана мама, словно собралась в театр. Своим видом мама хочет внушить отцу, что она не намерена отказываться от своих привычек. Пусть увидит отец, как странно выглядит она в этом доме, в этом городе, потому что и дом этот и город не для нее.

Вместо приветствия, мама сказала:

— Ну?

— Рад тебя видеть, — сказал отец.

— Почему ты не встретил нас?

— Я не знал.

— Я тебе дала телеграмму на твой домашний адрес.

Лицо у отца затвердело.

— Я просил писать на работу.

Они стояли один против другого.

— У всех порядочных умных людей должен быть дом и домашний адрес. Я никогда, слышишь, никогда не буду писать тебе на работу!

— К сожалению, дома я редко бываю. Дел много, — спокойно сказал отец.

Славка подумал: «Стоило ехать в такую даль, чтобы ругаться по пустякам?»

Он забился в угол дивана, чтобы стать маленьким и незаметным.

— Ты не хочешь сопротивляться слепой судьбе, — говорила мама скорее задумчиво, чем сердито. — Ты не хочешь противопоставить ей свою волю. Это бесхребетный эгоцентризм... Тебе, в конце концов, глубоко наплевать на меня и ребенка.

Отец стоял против большой иконы, заложив руки за спину.

— Интересная штука, — сказал он. — Старая.

— Я, кажется, с тобой разговариваю? — крикнула мама.

— Это только кажется, — ответил отец. — По-моему, ты разговариваешь сама с собой. Когда разговаривают с другими, стараются говорить понятно...

— Так... — Мама вспыхнула и заходила по комнате. Она закурила московскую сигарету с фильтром.

— Ты очень похож на лошадь, — снова заговорила она. — Куда тебя гонят, туда ты и идешь...

Отец усмехнулся.

— Угадала. Кстати, мне по душе эта дорога, по которой меня гонят... И этот воз, который мне приходится тащить.

— Славка, выйди вон! — сказала мама.

— Ма... — начал было Славка, но мама круто повернулась к нему и, вскинув руку, как полководец, произнесла властно:

— Выйди. Это тебя не касается.

«Как не касается?» — подумал Славка.

Мама очень часто говорит: «Это тебя не касается». После таких слов Славке всегда одиноко. Хочется умереть или заболеть серьезной болезнью. Тогда мама станет другой. Тогда все станут другими.

Славка вышел в коридор. Он стоял в темноте. Он не хотел слушать, о чем говорит мама с отцом. Но она говорила громко:

— Где мы будем жить?

— В комнате на элеваторе. Квартиру дадут через месяца два... Комната вполне... Квадратная...

— Жить черт знает где! Жить черт знает как!.. И даже без какой-нибудь мало-мальской мечты... Ты построишь пять элеваторов, десять, пятнадцать. Ну, а дальше.

Отец промолчал.

— А люди вокруг мечтают, стремятся.

— Мечтатели, — проворчал отец.

— Да, мечтатели! Я понимаю, если бы ты строил ракеты, решал бы проблемы термоядерной энергетики. А ты... Ты амбары строишь!

Отец молчал. Мама тоже замолчала, только дышала громко и возмущенно. Славка знал, что она курит сейчас свои сигареты, глубоко и часто затягивается. Мама шуршит и смотрит в потолок.

— Ты элементарен и узок, — наконец сказала она. — Славка, поди сюда! Собирайся. Едем в Москву.

Отец пошел в кухню. Славка проводил его взглядом. Лицо у отца было упрямо-спокойным.

— Зачем собираться? — пробормотал Славка.

— Я сказала, едем в Москву...

— Мы ведь и не распаковывались...

Мама как будто опомнилась.

— Да, — сказала она. — Тем лучше. Сейчас и отправимся, не будем терять времени.

В комнату вошла бабка Мария.

— Чаю пить будете?

Мама сказала:

— Нет, нет. Мы сейчас едем.

— Куда? — бабка покачала головой. — Самолет улетел. Только завтра если. А завтра самолетом не надо. Завтра теплоход придет до Одессы, «Белинский» называется.

— Славка! — крикнул из кухни отец.

Славка бросился в кухню.

Отец и старик Власенко сидели за столом. Старик прихлебывал чай. Отец подбрасывал чайную ложку.

— Жена молодая, — рассказывал о своем старик. — Не способная к рыбацкой жизни. Я ушел рыбалить. Три дня пропадал. Приехал: «Чего, жена, наварила?» — «Да вот, супчик». Я поел. Поехал рыбалить. Дней через десять приехал: «Чего, жена, наварила?» — «Да вот, супчик». Я как хватил тот супчик об угол. С тех пор она всегда мне борщи готовила. Потому, от борща в рыбаке сила и еще от щербы, от ухи, значит...

Отец бросил ложку в стакан. Повернулся к Славке.

— Едешь?

— Не знаю... — пробормотал Славка.

Отец долго смотрел на него. Славка ежился и краснел.

— Не пойму я тебя. Ты как яичница всмятку. Не знаю, с чем к тебе подступиться: то ли с ложкой, то ли с вилкой, то ли пить через край...

Славка стоял потный, словно в пару.

— Славка! — крикнула из комнаты мама.

Славка бросился в комнату.

Мама перебирала вещи.

— Мужик всегда сам с собой, — говорила ей бабка. — Его понять легко, если у тебя сердце от корысти свободно.

— Вы что думаете, мне его зарплата нужна? — резко спросила мама. Она сунула Славке альбом и коротко приказала:

— Перебери!

Старуха смотрела на маму с досадой.

— Я не о деньгах, — сказала она.

Мама снисходительно пожала плечами и пошла к зеркалу. Причесалась.

Славка раскладывал карточки. Мамины он оставлял в альбоме, отцовские запихивал в черный конверт из-под фотобумаги. В альбоме были и его, Славкины, карточки. Несколько штук. Он долго не решался, куда их положить — в альбом или в пакет. Наконец он разделил их, положил туда и туда поровну.

— Славка! — крикнул из кухни отец.

Славка побежал в кухню.

— Ну? Решил? С мамой поедешь или останешься?

— Не знаю... — Славка покраснел, быстро зашевелил пальцами. Ему показалось, что пол уходит откосом, проваливается.

Тихо, только позвякивает чайная ложка.

— Можно, я лучше в детский дом запишусь? — прошептал Славка.

Чайная ложка упала на пол. Славка вздрогнул.

Дед Власенко поднялся из-за стола.

— Пойдем, хлопец, — сказал он. — Посидим возле хаты. В саду сейчас дюже пахнет. Пойдем, ароматом подышим...

В саду метался ветер, теплый и неустойчивый. Небо, побелевшее от звезд, опустилось низко и словно кружилось.

Славке вдруг показалось, что он стоит ногами на двух лодках и лодки эти расходятся в разные стороны. А ноги у Славки слабые — не удержать. Сейчас грохнется в холодную воду.

Славка жался к старику. Он позабыл свою утреннюю обиду, потому что обида была мелкой.

— В наших местах болгары живут, — заговорил старик. — Моя жена болгарка была. Степовая она, я ее из степи увез, прямо с поля. Посадил на коня — гайда... Мне один цыган помог. Потом меня ее родичи убивать приезжали. Они, вишь, болгары, мусульманской религии, гугуазы, по-нашему. Прострелили мне плечо из обреза. А я взял жену свою Серафину — и в море... Потом обошлось... Я тогда видный был парень.

Отворились двери. Из хаты вышел Славкин отец. Не оборачиваясь, он пошел через сад. Наверно, направлялся ночевать к себе на элеватор, в свою только что побеленную комнату.

— Ученый твой батька-то, — вздохнул старик. — А я, видишь, ничего, кроме рыбы, не знал... И Серафима, жена, тоже. Ох, как я ее любил, хлопец. Бывало, хожу за ней по пятам, а на рыбалке снами про нее брежу...

Старик держал свои руки на коленях. Они лежали спокойно, не вздрагивали, не шевелились. Бурые, в узлах и морщинах, словно сплетенные из грубых, рваных шнуров.

— Почему у вас руки такие? — спросил Славка. Хотелось ему сказать: некрасивые...

Стариковы руки двинулись по линиялым штанам и уползли в карманы.

— Некрасивые? — сказал старик. — Так мне же ж не на портрет их снимать, а для себя и такие сгодятся.

ЕЩЕ РАССКАЗ СТАРИКА ВЛАСЕНКО

...Словили меня в гражданскую гайдамаки. Обработали, конечно, кулаками по ребрам. И я ж не стоял. Я ж одному в рукомойник, другому в ухо. Третьему под дых. Пока мне руки не скрутили... Бросили у подсолнухов, кто бы им кости смял, и пошли самогон пить.

Я лежу. Подсолнух надо мной и черное семя в нем. Прилетела птица, такая рябенькая. Подсолнух качнулся, птица шелк, шелк по семени клювом. Семечко выпало. Прилипло к моей щеке. Я шевельнуться боюсь — хочу семечко языком достать, и так мне смешно от этого.

Гайдамаки из хаты выскочили. Пьяные, аж гогочут. Им в голову ударило у меня секреты выпытывать. Говорят: «Как же: мы его били, а секретов не выпросили». Лягнули меня для начала ногами. Все норовили в мягкое. Я одного за икру зубами схватил. Потом ему в морду плюнул. На тебе, вошь, захлебнись. Он синий стал,

как тот баклажан. Сломал подсолнух и меня тем подсолнухом по глазам. Потом побежал в хату. Винтовку тащит. «Ух, — орет, — сейчас я тебя насквозь прошью! От затылка до самой...» Кхе...

Старик кашлянул смущенно. Глянул на Славку и подмигнул.

— Приятели его затолкали. Кричат: «Ты, мол, его ухлопаешь, а нам секреты пытаться надо!»

— Пытали? — выдохнул Славка.

Старик спокойно кивнул.

— А чего им, сказанным. Разложили костерчик. Сели вокруг него, будто турки. Калят в огне шомпола и прикладывают к моим пяткам. Самогон дуют. Спрашивают, мол, где отряд? Сколько ружей? Какие у отряда планы на будущее?

Я думаю: «Дуры вы безголовые. Если я вам даже правду открою, вы все равно по пьяному делу ее позабудете. Воины, — думаю, — вы сиволапые. Башколомы». Это я про себя так смеюсь. А вслух ору благим матом: «Бандиты вы! Шкуры! Предатели! Чтoб вас куриная моль заела». Я, конечно, и другие слова кричал, только тебе их слышать совсем не надо. Сопrotивлялся словесно. А все отчего? Чтoбы боль сбить. Они мне раскаленный шомпол к ногам приложат, боль как сквозанет по всему телу — до самой маковки. Я ору: «Люциферы! Прислужники! Петлюровские собаки! Все одно вам конец!»

Тот, которому я ногу прокусил, все за винтовку хватается. Требует: «Дайте ж мне, я его враз кончу».

Не дали. Ихний старший сказал: «Не торопись. Пускай до утра валяется. К утру он готовый будет для допроса. Боль его за ночь тихим сделает и послушным. А с утра мы его за ноги к журавлю привяжем. Макнем несколько раз головой в колодец, чтоб у него в голове просвежелo».

Полезли в хату. Все трое. Тот, которого я за ногу кусил, высунулся из окошка с винтовкой и давай палить по подсолнухам. Мне свою сноровку показал. «Ну, — думаю, — Василий, выбросят завтра твой партизанский труп за околицу. Закопают тебя в степи прохожие люди. Вырастет на том месте виноградная лоза с красными ягодами». Это я тогда размечтался. Ночь надо мной. Звезды. И так густо, словно раскололись

они по кускам и каждый кусочек мне на прощание светит.

Я слова геройские подбираю, чтобы они, значит, поняли, как принимает кончину красный боец. И от этих мыслей скоро устал. Соображаю, как-то даже смешно мне сейчас умирать. Вроде ни к чему. Невесту я той весной подсмотрел. Серафину — степовую болгарку. И так мне жить захотелось, до слез.

Руки и ноги у меня веревками скручены. Занемели. Костерчик, в котором эти кабаны шомпола грели, светится угольями, бросает мне на щеку тепло.

«Эх, — думаю, — Василий, была не была. Самое тебе испытание пришло — боль принять, и беззвучно. Накричался ты досыта. А сейчас помолчи».

Подвинулся я к костру спиной. Сунул в него руки, чтобы веревка перегорела. Крик у меня в горле бьется. Я его зубами держу.

Сколько это продолжалось? Долго. Веревка подавалась. Я ее разорвал. Повернулся на живот. Мне сунуть руки в холодную воду хотелось. Горели руки. А воды не было.

Кони петлюровские пустили лужу. Я в нее сунул руки. Больше этой боли я ничего не испытывал. Аж судорога всего меня смяла. словно в нутро кипятку влили. Я тогда потерял сознание.

Очнулся, стал ноги развязывать. Пальцы обгорели, вращапырку стоят. Никак веревку не ухватить. На плетне серп висел, которым у нас камыш бьют. Я его взял. Веревку перерезал. Пополз. Идти не могу — подошвы шомполами сожженные. Ползу на коленях да на локтях. Хорошо, тогда сушь была. Земля твердая, никаких следов.

К лиману ползу. Думаю, отвяжу лодку — и в плавни. Раза три по дороге падал. За крайними хатами меня утро настигло. Я забился под чей-то камыш. У нас на палево запасают, печки топить. И уснул...

Проснулся враз, будто меня толкнули. Проковырял в камыше дырочку. Смотрю.

Идет по песку Егор, мой сосед. Сонный. А за ним гайдамак. Тоже сонный.

Подошел Егор, поднял охапку камыша, увидел меня. Я на него тоже смотрю и «Деву Марию» читаю: «Прими, пресвятая богородица, душу раба своего...»

Куда ж я на сожженных ногах да с обгорелыми-то руками? И даже не страшно мне. Пусто так. Волна не-вдалеке плещет. А он, Егор, бросил камыш обратно. Выругался, как положено по-рыбацки, говорит гайдамаку:

— Прелый камыш. Негодный на палево. От него дух в хате тяжелый. И борща на нем сварить невозможно, бо от него только вонь. Он огня не дает. Пойдем, — говорит, — дальше.

Гайдамак хотел идти к другой куче, да лень его, наверно, взяла. Командует:

— Нехай. И на этом камыше твоя баба нам борща сварит. А когда не сварит, мы...

Старик смигнул с глаз что-то.

— Да ладно... Я тогда вроде в себя пришел. Серп у меня на груди лежал, я его, когда уползал, с собой захватил. Сжал я тогда серп. Руки горят — я боли не чувствую. «Ну, — думаю, — воткну я тебе, гайдамак, этот серп в глотку».

Гайдамак пнул ногой камыш, говорит Егору:

— Бери.

Егор нагнулся. Лицо спокойное, только в глазах тень. Вдруг поворотился он круто. Ударил гайдамака снизу... Пришил он того гайдамака штыком. Камышом его забросал. А меня взял на руки и отнес в лодку.

— Греби, — говорит, — Василий, в плавни. Я туда тоже прибуду и Марию с собой приведу. Жену свою.

Вот какие последние слова я от него слышал.

Вечером Мария в плавни одна подгребла. Меня гуклет. Я спрашиваю:

— Егор где?

Молчит. Только плачет. У нее тогда первенец ожидался.

Егора гайдамаки схватили. Крепко пытали, а покончить с ним не успели: красная конница их на геть вышибла — товарищ Котовский.

Егору гайдамаки язык вырвали за то, что молчал.

И вот, подумай, потом Егор пел. Выйдет в море снасть на белугу ставить и поет:

— Аа-ааа. А-ааа-аа. Ааа-а...

Будто ветер над плавнями. Не гляди, что без слов.

И меня любил. Иногда смотрит в глаза, смотрит... Мы с ним одногодки, с Егором.

СЛАВКА, ИДИ СПАТЫ!

Старик замолчал, и Славке послышалось, что в темноте на лимане кто-то поет, тихо, едва от тишины отличимо.

Славка теснее придвинулся к старику, посмотрел на свои руки. Они были слабые и пугливые.

— Славка, иди спать! — приказала из окна мама.

Славка пошел.

Он видел во сне, как старик скачет на белом коне, держа в окровавленных руках ясную саблю, похожую на серп. Славка видел отца, молчаливого и сосредоточенного. Отец смотрел на часы и считал: пять, четыре, три, два, один... НОЛЬ! И под элеваторами взрывалось горячее, и серые башни одна за другой отрывались от земли и уходили в небо.

КОЕ-ЧТО О СЛАВКЕ И ЕГО РОДИТЕЛЯХ

Некоторые утверждают, что детям недоступны заботы взрослых. Неверно это. Славка понимал очень многое. Одного лишь он не мог понять: почему его мама и его отец поженились.

Славкин отец уважал в людях способность работать без усталости. Иногда, заработавшись, он терял счет дням, и тогда неделя сжималась у него как бы в один длинный день. Время он мерил по сделанному. Сделанное никогда не удовлетворяло его, потому что к концу строительства у него накапливалось столько новых идей, что хоть заново все переделывай. И, может, поэтому он с большой охотой ехал на новую стройку.

Отец никогда не бросал грустных взглядов на дом, который покидал. Никогда не тратил на сборы больше часа. И всегда говорил:

— Человека можно разгадать по тому, как он собирается в путь.

Когда Славка с мамой приезжали на новое место к отцу, мама заметно старилась. Глаза у нее тускнели,

как тускнеют монеты. Платья теряли нарядность. Прическа становилась нелепой.

— Тебе нужна сутолока, — говорил отец.

— Мне нужна Москва, — говорила мама.

Днем, когда отца не было, мама сжимала руки под подбородком и часами ходила по комнате. Она совершала медленные круги. Круги все сужались. Наконец мама останавливалась посреди комнаты, как будто упершись во что-то невидимое. Ее глаза были широко открыты, но они были словно повернуты назад, словно смотрели внутрь. Она что-то шептала в такие минуты. Потом мама замечала Славку. Она шурилась, говорила смущенно:

— Ну, что ты уставился?.. Закрой рот.

Эти два слова преследовали Славку всю жизнь. В классе ребята над ним смеялись. Придумывали ему разные клички: «Полоротый лягушонок», «Цып-цып»... У него была даже такая странная кличка — «Двадцать восемь».

Били его редко. А впрочем, кому интересно бить человека, который не дает сдачи, только улыбается и даже не плачет.

СЛАВКА, ЗАКРОЙ РОТ!

Утром мама сказала Славке:

— Ты останешься здесь, с отцом. Пока я в Москве устроюсь. Ты здесь загорай, поправляйся... Да закрой же ты рот, наконец! — крикнула она.

Дед Власенко хотел проводить маму. Он все суетился, старался, чтоб веселее. Принес фотокарточки, начал хвастать.

— Анна, дочка моя. В Новороссийске живет. Тоже по моряцкому делу. Строит в новороссийском порту большой пирс. Пятнадцать судов к этому пирсу враз станут... Вот смотри ж ты: девка, а такое дело справляет. Она в Ленинграде специальную аспирантуру изучала.

Приехал отец на машине. Забрал мамины вещи и отвез их на пристань.

— Я тебе Славку оставлю, — сказала ему мама. — Только живите, пожалуйста, здесь. Мария Андреевна за Славкой посмотрит.

Бабка Мария вздыхала и украдкой вытирала глаза. Славка уже заметил — всегда жалко тех, которые уезжают. Хотя это и не всегда правильно.

У мамы в Москве родители, братья и сестры. У отца нигде никого. А дед Власенко все ходит вокруг Славкиной мамы, подсовывает ей молоко и ватрушки и говорит без конца, словно хочет маму утешить.

Когда шли на пристань, дед нес мамину сумку.

Возле пристани старик подошел к маме поближе и сказал ей почти на ухо:

— Только неправду ты говоришь, девка. Ведь дело можно тогда делом называть, когда оно с сердцем делается. Я всю жизнь рыбу ловил. И если бы мне дали еще столько лет выжить, я бы снова рыбу ловил... Сгадываю, эти ученые, которые ракету строят, любят и хлеба поесть, и мяса, и рыбу. Иль, может, они только словом питаются? — старик подмигнул маме и обнял ее.

У пирса стоял теплоход «Белинский». Белый и очень стройный.

На теплоходе играла музыка.

Мама поцеловала Славку. Пожала руку старику Власенко. Обняла бабку и попросила ее:

— Тетя Мария, последите за Славкой. Не давайте ему обрастать грязью... Пусть молоко по утрам пьет.

Отцу мама сказала короткое слово:

— Прощай.

— Прощай, — ответил отец. Повернулся и, крупно шагая, пошел к своему элеватору.

Мама побежала по трапу на теплоход.

Славка, бабка Мария и дед Власенко махали ей долго.

Теплоход ушел по блестящей серебряной дороге. Скрылся на горизонте.

Мокрый ветер пересолил Славкины глаза до горькой горечи.

— Не робей, хлопец, — сказал старик Власенко. — В мире, что в море, всяких полно чудес...

Славка хотел сказать, что это море наслепило ему глаза своим блеском. Обернулся. Возле старика стоит

Васька. Стоит себе, руки в карманы, не то чтобы безразличный, а какой-то нетерпеливый. Глядя на него, Славка почувствовал свое одиночество с удвоенной силой. Он отступил на шаг, но старик Власенко взял его за плечо.

— Пойдем, хлопец, с нами куты копать. Я ж тебе такую красоту покажу.

Славка дернул плечо из-под пальцев. Прошептал:

— Не пойду я с вами. Я один буду.

ЛЮБИШЬ НЕ ЛЮБИШЬ

Отец пришел поздно. Принес из своей комнаты на элеваторе чемодан и приемник. Приемник он поставил в угол к окну. Повесил на гвоздь антенну.

Славка сидел на диване, ждал, — он хотел поговорить с отцом. Ему хотелось сказать отцу что-нибудь взрослое. Спросить, например, что такое эгоцентризм. Но когда отец повернулся, Славка пошлепал губами и вдруг жалобно спросил:

— Скажи честно, ты меня любишь?

Отец оторопел от такого вопроса. Потом рассердился:

— Еще новый номер! Может быть, прикажешь целовать тебя по утрам?

— Нет, — прошептал Славка. — Я просто спросил... Я не знаю...

Отец принялся ходить, бросая на Славку хмурые взгляды. Уселся к столу и забарабанил пальцами по салфетке.

— Хорошо, — сказал он. — Давай выясним отношения... Я не могу сказать, что люблю человека только за то, что он мой родной сын. Это, понимаешь, еще не заслуга... Все?

— Все, — кивнул Славка.

Отец сел к приемнику и принялся настраивать его. Из репродуктора неслись чужие иностранные голоса, музыка и далекий шум, похожий на отголоски грез и океанских прибоев. Отец вертел ручку настройки. Он все время сбивал устойчивую волну и искал новые, едва

слышные волны, словно торопился найти чей-то голос, очень нужный ему сейчас.

— Ты ужинать будешь? — спросил его Славка.

— Нет, — ответил отец.

Славка лег на диван в ботинках, повернулся к стене и закрыл глаза.

СЛАВКА ИЩЕТ ТОВАРИЩА

Если глянуть на город сверху, может показаться, что опустился он на дно зеленого озера. Еле-еле видятся сквозь толщу зеленой воды красные черепичные крыши хат.

Жарко.

Степь раскалила ветры, пригнала их в город. Ветры привыкли к деревьям и травам. Медленно гибнут травы от жаркой жажды, сухие и ломкие.

Славка каждый день приходил на сваи. Садился возле Варьки, девчонки в вельветовых брюках. Она ловила бычков и ершей. Варька не прогоняла, но и не радовалась ему. Уходила домой не прощаясь.

Славка не обижался. Ему нравилось смотреть, как блестит на воде солнце. Если долго смотреть, море и небо станут сверкающей сетью. Она заколышется возле глаз. Тогда перестанешь различать горизонт, цвет воды и прозрачность неба. Только светлые нити, от которых кружится голова. И нужно ухватиться за сваю, чтобы не упасть в воду.

Девчонки никогда не обращали на Славку внимания. Он не навязывался, хотя понимал, что они щедрее мальчишек. Когда двое дерутся, — мальчишки на стороне победителя. А у девчонок хватает восторгов для победителя и участия для побежденного.

Славка все ждал, чтобы Варька что-нибудь сказала ему. И, конечно же, Варька сказала:

— Слышь ты, сбегай-ка за водой... Что-то пить захотелось.

И Славка помчался. Он сбегал домой за бидоном, принес Варьке холодной воды из колодца. Он завернул бидон в лопуховые листья, чтобы вода не нагрелась.



— Тебя только за смертью и посылать, — сказала Варька, напившись.

Славка улыбнулся.

— В следующий раз я быстрее сбегаю.

Варька поймала рыбу с зелеными переливчатыми боками.

«Красивая рыба, — подумал Славка. — У Варьки глаза такого же цвета. Красивые глаза».

А Варька сказала:

— Слышишь, раздергай-ка зеленуху...

Славка не понял.

— Чего?

— Ну, раздергай в клочки. У меня наживки сегодня мало...

Рот у Славки слегка приоткрылся.

— Эх ты, горе... — Варька переломила красивую рыбу пополам, разорвала пальцами на куски и бросила в банку. Славка сжал губы, зажмурился.

— Несъедобная рыба, пустая... — сказала Варька чуть мягче обычного.

ПЕРЕСТАНЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Двое мальчишек в пестрых ковбойках наскakивали на Варьку с двух сторон. Они били умело и с удовольствием. Они словно клевали ее и отскакивали. Варька стояла бесстрашно, не прятала лицо, не сгибалась. Она поворачивалась в нужный момент и... сверху вниз по затылку — р-раз! И еще. В отличие от мальчишек, Варька молчала. Из носа у нее текла кровь.

Славка подходил медленно, ноги его увязали в песке. Заметив его, Варька бровью не повела. И, конечно, не позвала его на помощь, словно он был посторонний зритель.

Славка сжался, поднес руку ко рту.

— Что же вы делаете? .. — зашептал он. — Зачем вы ее бьете? ..

Ноги у Славки стали слабые. Задрожали пальцы.

Один из мальчишек сбил Варьку на землю.

— Ой! — вскрикнул Славка. — Перестаньте!

Мальчишка прыгнул на Варьку. Варька выставила руки, и не успел Славка крикнуть еще раз, как она изогнулась дугой и, свалив мальчишку, навалилась ему на грудь.

— Ура! — хотел крикнуть Славка. Почему-то он вдруг подумал о Ваське, на один только миг подумал о нем, как о спасении, и тут же забыл.

Другой мальчишка с криком: «Куда ты, дура!» — бросился на Варьку сзади. Он схватил ее за волосы и оттянул ее голову на спину. Шея у Варьки напряглась.

Славке стало невыносимо тоскливо — такое чувство, будто тошнит. Он зажмурил глаза, и вдруг у него внутри что-то лопнуло, тесное и неудобное. Он закричал пронзительно:

— Я ж тебя сейчас застрелю, гайдамак паршивый! И бросился на врага.

Славка свалил верхнего мальчишку на землю. Он бил его по лицу. Царапал. Он укусил его даже в плечо.

Глаза у мальчишки стали круглыми, белыми от испуга. Он отползал от Славки, пятясь спиной. Он даже не сопротивлялся. Потом вскочил, отбежал в сторону и закричал:

— Не подходи ко мне, сумасшедший!

У Славки тряслись руки. Он схватил с земли круглый камень, готовый бить всех, кто бросится на него и на Варьку. Но бить было некого. Варька стояла и удивленно смотрела на него. Ее враг отряхивался в сторонке.

Варька утерла ладонью разбитый нос.

— Еще поддать? Или хватит?

Мальчишки переглянулись.

— Ты убери этого психа, — сказал исцарапанный Славкой.

Славка сощурился, сжал в руке круглый камень. За спиной кто-то весело засмеялся. Славка повернулся круто. Позади них стоял Васька. Почти голый, в одних узких трусиках.

— Я хотел вам помочь, — сказал он. — Но это хорошо, что я опоздал.

— Чего же тут хорошего? — спросил Славка.

— Хорошо, что вы сами справились... — Васька наклонился, поднял затоптанную в песок косынку и подал Варьке.

Варька вырвала косынку из его рук.

— И тебя, если нужно, отлупим, — сказала она.

Славка знал, что этого Ваську они отлупить не смогли бы. Потому даже, что он не позволил бы себе драться с ними. Но все-таки крикнул воинственно:

— Проваливай к своему деду! Мы тут без всех обойдемся. Вдвоем!

— Ладно,— сказал Васька доброжелательно,— справляйтесь,— и убежал в затон.

Славка заметил, что весь он перепачкан в мазуте. Даже волосы, даже щеки в лиловых мазутных пятнах. Васькино доброжелательство и эти мазутные пятна разозлили Славку до слез.

— Отлупим!— закричал он.— Вот увидишь, отлупим!

Когда они с Варькой брели по мелкой воде к сваям, он спросил:

— Ты за что их?..

Варька вздохнула, потеряла ушибленный нос и заговорила, как с равным:

— Так они ж меня с этой сваи спихнули. Курортники окаянные.

И только тут Славка заметил, что Варька мокрая с головы до ног.

— Ты сними одежду и повесь сушить,— сказал он.

Варька повела плечом.

— Ты не стесняйся, я отвернусь,— простодушно предложил Славка.

— Да нешто я тебя застесняюсь. Просто не люблю я в голом виде сидеть. У меня на плечах пузыри бьют от солнца.

Варька все же разделась. Разложила сушить свои брюки и кофту. А косынку выстирала. В трусах она совсем была похожа на мальчишку. Только щеки у нее более плавно сходили к подбородку да толстая коса на спине.

— Ты чего такой, каждый день как моченый?— спросила она.

— У меня мать уехала,— сказал Славка.— Насовсем... .

Варька уставилась на поплавок. Лицо у нее стало строгим. Славка разглядел, что ресницы у нее мохнатые и от них по глазам тень.

Варькин поплавок то и дело тонул. Она дергала бычков и ершей с громадными ртами, сажала их на кулан и молчала.

— А ты не вникай,— вдруг сказала она.— Пусть они сами в своем разбираются. Ты им не судья, и тебя ихнее дело не должно касаться.

Варька посмотрела поверх Славкиной головы. Трянула косой, словно прогоняя неприятную думу.

— Кто их там разберет, — пробормотала она. — Они же чисто дети малые. По каждому пустяку у них раздражение. Даже смешно, до чего у них жизнь нервная...

— А у тебя спокойная? — спросил Славка.

Варька ответила уклончиво:

— Мне одно нужно. Чтобы не мешали. А дальше я сама разберусь. Закончу образование... Я знаю, кем стану...

Домой они шли через весь город. Несли вдвоем ведро рыбы.

Варькиной бабушкой оказалась та самая злая старуха Ольга. Она долго разглядывала Славку и что-то ворчала.

Славка думал: как странно, несколько дней назад не было у него на земле человека злее старухи Ольги, а сейчас он смотрит на нее и пытается улыбнуться ей. И не потому, что старуха стала добрее и лучше, а потому лишь, что Варька — старухина внучка.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ БИОГРАФИЯ

Вечером, дождавшись отца, Славка похвастал:

— Сегодня я дрался.

— Заслуга какая, — ответил отец. — В твоём возрасте я каждый день дрался...

Беседовать на эту тему дальше Славке не захотелось. После ужина, когда Славка помогал бабке Марии мыть возле хаты посуду, он услышал разговор отца с дедом Власенко. Они не видели их, но слышал голоса из окна:

— Нешто тебе, парень, мальчонку не жаль? Он же один среди всех. Какая у него биография — всю жизнь как зерно между жерновов. И трете вы его, и трете. Так человека в муку растереть можно.

— Какая там биография. Нет у него ещё биографии. Биография начинается с поступка, а не с факта рождения.

— Ему же годов, что тому куренку...

— Я в его возрасте в немецкую полковую кухню

дохлых крыс кидал. Постромки у лошадей ножиком резал. А годом старше — грузовик со снарядами сжег. И в том же году я с простреленным животом по земле полз...

— Ты не равняй, парень...

— А чего ж не равнять?.. Я, дед, знаю и таких тоже, которые в тридцать лет женятся, и это в их жизни единственный поступок, больше до смерти и вспомнить нечего.

— Он еще не заиграл от солнца, не почувствовал силы, — раздумчиво сказал дед. — Он стоит, как тот малек, и не знает, что из него вырастет и что ему придется кушать. Он еще всех боится...

Бабка Мария захлопнула окно.

— Не вникай, — сказала она.

Бабка Мария обтирала тарелки. Славка заметил на ее глазах слезы! Наверно, вспомнила она своих сыновей и мужа, которые ушли из жизни до срока.

СЪЕДОБНАЯ ЗЕМЛЯ

Утром в окно постучала Варька.

— Пойдем, что ли, — сказала она. — Я тебе, смотри, удочку наладила, чтобы ты так зазря не сидел, не глядел в воду.

На сваях Славка сказал ей:

— Давай из затона катер угоним.

— Не гляди в воду, — пробурчала Варька. — В воду глядеть опасно.

Славка смотрит.

Море набегаёт на него с трех сторон, громадное. Тихонько качает его, приподняв, и летит Славка, окруженный стремительным блеском. Славка думает о красоте. Есть на земле такая красота, что, глядя на нее, хочется плакать нестыдными слезами. Он думает: вот бы жизнь так прожить, чтобы, когда умер, все плакали — и знакомые и незнакомые люди. Весь мир. Вся земля.

Славка смотрит на Варьку.

— Давай убежим на Азорские острова.

— Смешно, — говорит Варька.

— Не так уж смешно. На Азорских островах есть съедобная земля.

— А тебе что, котлет не хватает?

Славке хватает котлет и компота, ватрушек и жареной рыбы.

— Опять смотришь в воду, — говорит ему Варька.

На следующий день она принесла из дома широкополую шляпу-бриль.

— Надень. Тебе нельзя на солнце без шляпы, у тебя голова слабая.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Несколько дней подряд Славка дрался. Ходил по улицам и воевал с каждым встречным мальчишкой. Приходил домой битым, но сильным.

Бабка Мария ставила ему кислые примочки, дотошно смазывала царапины йодом. Говорила:

— Дюже красиво ты себя, Славка, разрисовал. Красивее, чем вчера, — и смеялась.

И Славка смеялся.

Он прыгнул в воду с самой высокой вышки на городском пляже. Когда он вынырнул, к нему подошла лодка-каюк. Три рыбака смотрели на Славку.

— Живой? — спросил один.

— Так и пропасть не долго, — сказал другой.

— Лихой парнишка, — сказал третий.

Пересиливая боль — горело все: руки, ноги, плечи, живот, — Славка поплыл к берегу.

— Ничего, — бормотал он, — я еще не с такой вышки спрыгну.

Почти каждый день Славка встречал Ваську. Проходил мимо него, задрав подбородок, ведь, как ни кинь, отношения между людьми определяются положением подбородка. Васька смеялся при встрече и говорил:

— Жми, Славка.

— А тебя не касается, — отвечал ему гордый Славка, но чем дальше, тем больше чувствовал, что не перебороть ему Ваську такими приемами. С самой высокой вышки на пляже Васька прыгал как хочешь: и спиной

вперед, и ласточкой, и вертел сальто. Прыгнет и уплывет в море. Вылезет на берег где-нибудь в дальнем месте и спокойно уйдет по своим делам.

К Варьке Васька подходил тоже без церемоний. Подойдет, постоит рядом. Скажет что-нибудь и уйдет, не дожидаясь ответа. Он принес ей ведро хорошей плавневой рыбы. Сказал:

— Отдай бабушке. Мне не нужна, я в столовой питаюсь. Жалко, если пропадет рыба.

Варька не взяла. Прогнала. Васька ушел, но рыбу оставил. Варька и Славка не стерпели, чтобы завяла такая прекрасная рыба. Они продали ее на базаре.

Иногда Васька появлялся у них дома, и Славка начинал громко ходить, разговаривал, как оглохший. Пел. Его отец любил беседовать с Васькой.

Из-за этого Васьки Славка чуть окончательно не поссорился со стариком. Он залез в затон, чтобы поймать Варьке толстых непуганых бычков и ершей. Старик подошел к нему и еще не успел открыть рта, как Славка уже закричал, подгоняемый жаждой справедливого возмущения.

— А что! — кричал Славка. — Вашему Ваське можно, а мне нельзя! И Варьке нельзя. И никому нельзя. Это не по-советски.

Старик смотрел, жалея его глазами. Потом сказал:

— Славка, Славка... Васька сюда не для баловства ходит. Он с Голошекиным, с машинистом, старый движок оживляет. Людей же ведь мало, чтобы старым движком заниматься. — И ушел к себе в проходную. Только ушел старик, Славка прыгнул в воду и уплыл на сваи. Варька спросила:

— Прогнал?

— Нет, — сказал Славка. — Я сам. Скучно мне стало. Я там один был.

Мама прислала ему из Москвы письмо. И еще две открытки.

Из них было понятно, что ей хорошо, даже как-то слишком уж хорошо.

Отец к маминым письмам не притрагивался. Он спрашивал у Славки:

— Ну, что мама?

— Здорова, — отвечал Славка.

— А ты?

— Я тоже здоров.

— Вот и славно, — говорил отец. — Очень радостно слышать.

Один раз Славка спросил у него:

— Ну, а ты как?

— Я тоже здоров, — ответил отец, усмехнувшись. — Здоров и весел.

Отец всегда был здоров, по крайней мере он всегда утверждал это. Ну, а насчет веселья, на этот предмет у всех своя точка зрения. Отец, например, пел песни только тогда, когда ему было плохо. Тогда он ходил и пел без конца. И всем действовал на нервы. Особенно маме. Смеялся он, когда читал книжки. Он так и говорил:

— Посмеяться охота, — и принимался читать.

Смеялся хрипло. Бормотал:

— Ох, умора, — и размахивал книгой.

Мама сердилась. Говорила:

— Ну кто так смеется?

— Я, — отвечал отец.

Еще чаще отец смеялся над теми книжками, которые мама называла модными и современными. Тогда он просто хохотал. Мама в таких случаях возмущенно доказывала ему, что он примитивен.

— Ох-хо-хо, — отвечал ей отец.

А Славка не знал, не мог понять, весело ему в такие минуты или, наоборот, грустно.

Мама переходила на крик. Сыпала словами: мещанство, протест, интеллектуальный герой, пошлость.

Отец барабанил пальцами по столу

— Да, да. Как же, как же...

— С тобой невозможно разговаривать!

Мама хлопала дверями и убегала.

— Постыдно! Убого! — бормотала она, словно отец совершил преступление.

Славка спрашивал у отца:

— Что с мамой?

— Ничего страшного, — не меняя позы, отвечал отец. — У мамы растут зубы мудрости.

Славка никогда не мог разобраться, кого он любит больше, отца или маму. И любит ли их вообще. Ему казалось, что они все трое живут порознь, каждый сам по себе. Но когда отец уезжал на новое место, Славка

начинал скучать и думать о нем. Когда уезжала мама, Славка вдруг замечал, что она ему очень нужна.

Когда Славка кого-нибудь провожал или уезжал сам, ему казалось, что вся жизнь склеена из сплошных потерь, что он вечно теряет кого-то. Когда Славка встречал новых людей, приезжал в новые города, ему начинало казаться, что он все время находит.

Работа на элеваторе у отца шла полным ходом. Рядом с восемнадцатью башнями уже вырастали восемнадцать новых.

От старика Власенко Славка узнал, что элеватор старинный, много раз перестроенный. Элеватор взрывали и строили заново. Строили его и англичане, и румыны, и немцы. Они же взрывали, когда им спешно приходилось удирать с этой земли.

Славкин отец не только расширял элеватор. Он делал его автоматом. Четыре человека будут обслуживать всю громадину. И когда заработают механизмы, отец поедет в другое место, где нужно построить какое-нибудь новое, уникальное сооружение из бетона.

Отец всегда приходил поздно. Иногда он останавливался возле дивана, на котором спал Славка, простаивал там по нескольку минут. Славка ежился под простыней. Славка начал думать, что он отцу в тягость. Что он для отца обуза. Славка даже написал маме письмо: мол, хочу в Москву, забирай меня побыстрее. Письмо прочитал отец. Случайно.

Он сел к столу. Но не надолго. Вскочил и принялся ходить, и запел.

Бабка Мария позвала отца на кухню.

— Хочешь, я на картах раскину? — сказала бабка. — Расскажу, как она там в Москве живет.

— Кто? — спросил отец.

Бабка раскинула карты.

— Живет она худо, — сказала бабка. — Ты бы ей, парень, денег послал...

Отец сел возле бабки, опустил голову.

— Не возьмет, — сказал он.

— А ты подумай, — сказала бабка. — Может, и придумаешь, как это сделать.

Отец засопел грустно. Вздохнул.

— А вы, тетя Мария, карты раскиньте. Может быть, карты скажут.

— Этого карты не могут.

Славка ушел на берег. Он ходил по песчаным дюнам. Слушал тихое бормотание волн и думал: не уехать ему от отца.

Поздно вечером, когда Славка пришел домой, он застал отца за таким занятием. Отец сидел у стола, читал открытки, которые мама прислала Славке. Он разложил их, как игральные карты, и прочитывал одну за другой.

Славка вышел из хаты. Душистый вечер дремал под деревьями. По ерику плыли белые утки. Верхом на собственном отражении. Славке захотелось спугнуть уток, закричать громко и весело. Утки загогоют, захлопают крыльями, как в ладоши. Поднимется шум и гам. Залают собаки.

Славка не успел закричать. В ерик вошла черная лодка — каюк. Дед Власенко гнал ее шестом. На корме стоял Васька. Лодка коснулась берега. Он выпрыгнул, привязал ее к бревну-лежаку. Старик передал Ваське ведро рыбы.

Славка спрятался за деревьями. Он смотрел, как дед с Васькой пришли к хате. Услышал, как старик сказал:

— Васька, надень одежду. Мария тебя любит, конечно, но...

Они засмеялись оба. Старик подтолкнул Ваську и, пока тот залезал в брюки, держал перед ним его клетчатую рубашку.

Славка отвернулся. Стал смотреть в воду. Легкая волна с одной стороны была темно-зеленой, с другой светилась багряным блеском. Плыли по этим волнам белые утки.

ЕЩЕ НЕМНОГО О ВАСЬКЕ

Камыш-ш... Камыш-ш...

Шуршит, поднимается тонкими стеблями, колышется над головой.

Тихо. Редко аукнет птица, ударит крылом по воде и замрет, испугавшись своего шума.

Грузнет багор. Лодка движется медленно. Все темнее, все гуще камыш. И вдруг резанет по глазам ослепительным светом. Круглый плес. Вода неподвижная, жаркая. Солнце выжгло в плавнях куты — круглые маленькие озера.

Уже сколько дней старик с Васькой бьют камыш кривыми серпами, прорубают просеки от кута к куту.

Старик дежурил в затоне через сутки. Сутки дежурит, на другие отправляется с Васькой в плавни. В просеках, пробитых серпами, роют они канавы, соединяют куты, чтобы рыбий малек смог пробиться к свежим волнам, не то весь погибнет. Старик ругает глупую рыбу за то, что лезет она по весне в плавни метать икру, не заботясь о своем горемычном потомстве. Спадет вода, малек вылупится в мелких кутах, побегаёт, пока маленький, и задохнется. Так и не повидает моря, так и не вырастет в сильную рыбу.

— Рыбак же копать не будет, — говорит старик. — У рыбака сейчас самый лов — часа пустого нету. Вот я и копаю. Уже, который год. Пробовал я на это дело народ скликать. Школьников одно лето послали, да тут же и сняли. Перевели в степные колхозы на виноград.

Старик раздевался в плавнях, снимал рубаху с усохшего тела. Тогда обгорелые кости становились особенно некрасивыми. Темные, они были словно приращены к белым рукам грубой сапожной дратвой. Плечо у старика прострелено. Шрамы с обеих сторон втянулись внутрь, будто связанные короткой жилой. И на ногах у старика шрамы, и на спине.

Старик работал подолгу. От зари до заката. Когда в канавах оседала грязь и становились видными шустрые мальки, бегущие друг другу навстречу, в стариковых глазах загоралась веселая радость. Было похоже, будто сажает он в своем саду яблони и они тут же цветут легким цветом.

Каждому мальку у старика кличка. Он их вытряхивает из вентера в воду и ругает, как ребятишек: репейными шишками, окомолками, башколомами — и сам над собой смеется. Говорит:

— Старый — что малый. Стариков жизнь толкает на печку, вас, ребятишек, тоже не подпускает к делу по

малости лет. Выходит, что в жизни мы на меже, а не в поле. Вас, ребяташек, такое положение клонит к играм и к баловству, бо энергия у вас не растрочена. Нас, стариков, пихает в такую вот самостоятельность: плетень поправить, садок насадить...

— Ну, не такой уж вы старый, — возражает ему Васька.

— Старый не старый, а к большому делу не горазд. Я же ж на этом море и тралмастером плавал, и капитаном, и даже председателем сидел сразу после войны. Тогда у нас не колхоз был, а трофейный музей. На каких только диковинных кораблях не рыбалили! Даже на румынском торпедном катере. Сейчас наш колхоз океанскую флотилию приобрел. Первым с Черного моря в Африку побегит. — Старик замирал с лопатой, смотрел в камышовую тень, должно быть, вспоминал свои дальние плаванья. Варька смеялась над Васькой. Кричала:

— Лягушачий герой!

Красивая Варька девчонка.

Соседская Нинка, поливая ему горячую воду, ворчала:

— Вы б отдохали. Чего вам? Другие курортники в белых рубашках, а вы всегда грязный.

— Некрасивый? — спрашивал Васька.

Нинка мяла губы в стеснении, потом говорила с хитростью:

— Рабочая грязь красоты не портит... Но ведь зачем вам?

— Для смеха, — отвечал Васька... — Чтобы смешнее...

— Да ну вас, — сердилась Нинка. — Не хотите со мной разговаривать, тогда и не смейтесь.

Васька жил в Ленинграде. Его отец работал на заводе инженером. Но Васька ни разу не был там. Мама тоже работала на заводе, и Васька много раз пытался представить ее цех и все думал, почему в больших городах труд человеческий спрятан за такие высокие стены.

Ваське нравился этот чистый старательный городок, у которого, в отличие от больших городов, все дела и заботы наружу. Даже нелюбопытные в этом смысле курортники знали, чем болеют на консервном заводе или

в рыбацком колхозе. Когда лампочки в домах тлели красным накалом, все говорили и сетовали на то, что у паровой турбины подтерся подпятник — пора бы его заменить. Все знали, что консервный завод отобрал у рыбколхоза катера, которые он давал в аренду, чтобы самим посылать их в береговые колхозы за вишней и ранними фруктами. Ваське нравилось встречать занятых делом людей.

Здесь не было праздногогуляющих. Курортники — те не в счет, они не принадлежат к этому городу, они лишь временно пользуются его гостеприимством.

Взрослые в этом городе называли его Василий. Ребята говорили — Вася. И только Варька-Сонета не называла его по имени. Варька всегда отворачивалась, когда он бежал мимо свай.

СЛАВКА РАЗГОВАРИВАЕТ С ОTCОМ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ

Славка лежал на диване. Сон к нему не шел, гулял за темными окнами.

Отец пришел поздно.

Славка слышал, как бабка Мария кормила его ужином в кухне.

Слышал, как отец вошел в комнату, тихо и осторожно ступая. Скрипнул стул — значит, сел работать.

Отец долго чертил за своим столом, считал на линейке и кусал карандаш. Иногда он крутил настройку приемника, ловил тихую музыку и снова принимался чертить.

Славка сидел на диване, укутавшись в одеяло. Он понимал, что взрослый, занятый человек может быть одиноким и что одиночество это во много раз тяжелее, чем его, Славкино.

Так они и сидели, два одиноких человека. И оба очень хотели, чтобы это упрямое одиночество кто-нибудь из них нарушил. И оба не решались это сделать.

Славка уснул сидя. Отец разбудил его.

— Хватит нам играть в эту нелепую игру. Давай поговорим немного.

— Давай, — сказал Славка.

— Знаешь, — сказал отец, — все это чепуха... Давай поговорим о деле. Ты думаешь, элеватор — обыкновенное сооружение для хранения зерна? Большой амбар? Зря ты так думаешь...

Славка вылез из одеяла. Во-первых, потому, что он никогда так не думал, во-вторых, потому, что отец никогда не разговаривал с ним на такие серьезные темы.

— Гляди, — отец вытащил из кармана завалявшееся зерно пшеницы. — А оно живое. Живет и дышит. Его нужно защитить от всяких врагов — паразитов. И оно долго будет жить. Сто лет и пятьсот лет. Потом его можно посадить, и оно прорастет и даст колос. И даст новую жизнь...

Отец махнул рукой, скинул туфли и лег на свою кровать, лицом к стене.

Славка тоже лег. Он все удивлялся и радовался этому разговору. И вдруг он подумал, что, вероятно, отец не раз пытался говорить с мамой о своей работе и, наверно, вот так же махал рукой под конец, не увидев в маминых сонных глазах интереса. Славка соскочил с дивана и полез к отцу на кровать.

— Знаешь рыбзавод? — спросил он.

— Ну, знаю.

— На этот завод селедку из Мурманска присылают, чтобы коптить... Почему?

— Наверно, своей рыбы мало, — ответил отец.

Славка потряс головой.

— Правильно. У колхоза плавучих средств не хватает.

Славка слышал отцовское дыхание. Чувствовал его тепло и запах табака.

— Кто тебе сказал? — спросил отец.

— Дед сказал... А когда новая флотилия прибудет, у завода все равно с сырьем окажется нехватка, — помолчав, заговорил Славка. — Слишком большой завод для этого места построили. Не подумали.

— А это тебе кто сказал? — спросил отец.

— Дед, кто...

Отец легонько спихнул Славку с кровати.

— Ладно, — сказал он. — Иди. Спи.

НАВЕРХУ, ГДЕ ВЕТЕР

На следующий день отец повел Славку на элеватор. Он показал ему все: силосные помещения, где хранится зерно, те самые серые башни и пространства между башнями — звездочки, в которых тоже хранят зерно, транспортеры, которые пересыпают зерно из силоса в силос. Зерно летело по трубам, поднималось в ковшах. Лежало тихо. И его сторожили чуткие автоматы, которые построил отец. Они следили, чтобы зерно не задохлось или, наоборот, не стало дышать слишком сильно.

Отец показал бетонные козырьки-навесы. Они были похожи на крылья. Под эти крылья могло заехать машин пятьдесят с одной стороны и пятьдесят — с другой. Они висели в воздухе без колонн и подпорок.

— Напряженная сбалансирована конструкция, — объяснял отец. — Она как бы сама себя держит. Обжимает несущее сооружение, словно вцепляется в него. . . — Рассказывая, отец краснел и смущался. И ему даже как будто не хватало воздуха, чтобы дышать. Может быть, поэтому он повел Славку на самый верх, на крышу, где парной воздух сгущался и уходил к морю, подхваченный степными полынными ветрами.

— Смотри, — сказал отец, — какая красота вокруг. — Он добавил тихо: — И все-таки тебе нужно поехать к маме.

Славка не успел ответить, он вдруг увидел проклятого черного, облупленного Ваську, который стоял у перил и скалил нахальные зубы.

— Ты как сюда попал? — строго спросил отец.

— Я вас искал, — ответил ему Васька. — Мне рабочие сказали, что вы по элеватору со Славкой ходите. Я подумал, что уж сюда-то вы обязательно придете.

— Кто тебя пустил? — еще строже спросил отец.

— Если честно говорить, — никто. У меня же к вам серьезное дело.

— По делу я принимаю в конторе!

Васька захлопнул свой дурацкий рот и опустил голову. Но отец не дал Славке насладиться Васькиным конфузом. Все еще недовольно, но уже мягче, он сказал ему:

— Давай.

Васька вытащил из кармана тетрадку. Подал ее отцу.

— «Скромный труженик», — прочитал отец. — Тебе самому не смешно от такого названия?

Васька покраснел.

Отец посмотрел на него, облокотился на перила и принялся читать.

— Плохо, — говорил он. — Глупо. Ну, это же курам на смех!

Васька стоял возле него темно-малиновый. Он вытирал пот со лба, шевелил губами, проклиная, должно быть, благие порывы.

Славка покусывал губы. В его ушах отцовские слова «плохо», «отвратительно» звучали как «хорошо» и «прекрасно», потому что были в этих словах понимание и теплота.

Славка смотрел на город, распростертый внизу, на далекую степь, на лиман, желто-зеленый, будто растворивший в себе знойные соки земли. За лиманом темнело море. Оно соприкасалось с землей и враждовало с ней. «Убегу! — думал Славка. — Ото всех убегу».

У своих ног он заметил лестницу, которая вела с вышки на плоскую крышу силосов-башен. Он спустился по этой лестнице. Ему хотелось глянуть с крыши на землю, с самого края, или свалиться вниз, чтобы отец подбежал к нему, распростертому, и закричал дико: «Славка!»

Он шлепал по бетону сандалиями, — может быть, сейчас крикнет? Остановился. «Ну! Крикни!..»

Тихо. Отец даже не видит его. Отец считает его слабым, ни на что не пригодным.

Славка подполз на животе к краю крыши. Глянул вниз. Воздух обтекает горячие стены. Видно, как он колеблется, свиваясь в узорчатую духоту. Внизу рабочее. Движения их странны, очертания расплывчаты. Славка представил, как он медленно, с открытым ртом, падает вниз. Опускается в цементный ил... Славка вцепился в ноздреватый бетонный карниз. Отполз на животе подальше от края.

Над крышей торчит металлический штырь. Он опускается вниз вдоль бетонной стены. Держат его железные костыли, забитые в стену. Расстояние между ними три метра. Высота элеватора — тридцать...

ГРОМООТВОД

— Журналиста из тебя не выйдет, — сказал Ваське Александр Степанович. — Ты стыдливый... — Он спрятал тетрадку в карман. — Вот как я сделаю: пошлю это сочинение твоему дяде в Одессу, пусть он покажет его в газете. Если им нужно, они пришлют своего корреспондента.

— Но... — хотел возразить Васька.

Александр Степанович засмеялся:

— Лучше уж я пошлю. Тебе неудобно. Я еще от себя напишу пару слов...

— Наверно, так лучше, — сказал Васька. — Если вы... — Он оборвал фразу. Он увидел на крыше башенсилосов Славку. Славка сидел на самом краю. Вцепился руками в громоотвод. Перекинул ноги вниз...

— Славка! — закричал Васька. Толкнул Александра Степановича, потому что тот стоял на дороге. Скатился по железной лестнице на плоскость крыши и бросился к громоотводу.

— Славка! — кричал сзади Александр Степанович.

Славки уже не было видно. Васька подбежал к громоотводу. Славка стоял метрах в трех внизу на крепежном костыле, вбитом в стену.

— Славка! — крикнул Васька. Славка не поднял головы.

Подбежал Александр Степанович.

— Веревку, — прошептал он.

— Держись, — бормотал Васька. — Держись! — крикнул он. Александра Степановича уже не было рядом. Он метался в чердачных отсеках...

Славка казался совсем маленьким и спокойным. Он зажал громоотводную штангу подошвами сандалий и, мелко перебирая руками, заскользил вниз к следующему крепежному костылю.

Если бы это канат или шест, тогда ладно. Ржавая стальная штанга с зазубренными гранями! Она разорвет, разьест Славкины ладони... Васька уцепился за штырь громоотвода, перевесился через карниз и, зажимая штангу ногами, полез к Славке. Он торопился. Он хотел догнать Славку. Но и Славка, увидев такое, полез быстрее.

— Стой!.. Обожди! — кричал ему Васька сверху.

На земле, под громоотводом, собрались рабочие. Они махали руками, словно подбрасывали свой крик, чтобы он долетел к двум мальчишкам, похожим на мух, что ползут по высокой стене.

— Славка, дурачок... — бормотал Васька. — Ну не беги... Ну полезем вместе. Вместе же веселей. — Васька знал эту яростную необходимость самоутверждения, которая толкала его самого на дурацкие с виду поступки. Он вдруг понял, что любит этого худоплечего Славку. Васька соскользнул еще на один марш. Теперь их отделяли только три метра. Славка не убегал, стоял на крепёжном костыле, прижимался животом к штанге. Он стоял между стеной и громоотводом. Васька посмотрел, хватит ли ему места на костыле, чтобы поставить ногу. Места хватало. Он спустился ниже. Над Славкиной головой ему пришлось разжать ноги и спускаться на одних руках. Славка смотрел в сторону. Ресницы у него были мокрыми. Он отчаянно мигал, чтобы стряхнуть липкие глупые слезы. — Из-под Славкиных пальцев, сжимавших ржавую штангу, текла кровь. Рот у него был наглухо стиснут. Наверно, чем шире открываются глаза у людей, тем плотнее закрывается рот. Васька услышал окрик сверху. Поднял голову. Александр Степанович спускал им веревку.

— На веревке я не полезу, — сказал Славка, все еще не глядя на Ваську.

— Не полезешь, — ответил ему Васька. — Она короткая.

Он не знал, что Славка сейчас радуется ему, как другу, пропавшему некогда и найденному в момент крайней нужды.

Веревка висела метрах в двух над ними. Веревка дергалась, извивалась, словно силясь вытянуться. Держась за штангу одной рукой, Васька расстегнул рубашку, скинул ее и, ни слова не говоря, привязал Славку к штанге. Потом он полез вверх к веревке, которая все вздрагивала. Он лез в обхват, как по шесту. Штанга жгла ему живот, ноги, плечо. Он поднялся на верхний костыль, поймал веревку.

— Бросайте!.. — крикнул он, обмотав веревку вокруг штанги, чтобы она не вырвалась из его рассеченных ладоней.

— Держитесь, я сейчас к вам спущусь! — послышалось сверху.

Васька задрал голову.

— Не надо! — крикнул он. — Здесь троим никак! Я справлюсь...

Он спустился к Славке. Обмотал Славкины руки рубашкой. Стравливая потихоньку веревку, он опускал Славку все ниже, с костыля на костыль. Спускался сам и опять опускал Славку. Ладони и пальцы сочились. Колени, икры были разодраны. По голому животу шла красная кровоточащая ссадина, она вспыхивала на подбородке квадратным мазком, задевала нос и угасала на лбу.

Снизу кричали советы. Но он не слушал или не понимал. Внизу он увидел Варьку. Она стояла, притиснув руки к губам. Васька сползал по штанге, прильнув к ней всем телом. Когда Славка был уже на заждавшихся руках отца, когда Ваське крикнули: «Прыгай!» — он все равно полз, изо всех сил прижимаясь разодранным животом к железу. Даже когда его ноги коснулись земли, он не решился выпустить штангу из рук.

МОРЕ СЛЕПИТ ГЛАЗА

Славка и Васька сидели на пирсе. Руки у обоих забинтованы. У Васьки забинтовано колено, остальные поцарапанные места закрашены медицинской зеленкой. Красив Васька, как павлин.

Славка спросил:

— Почему ты за мной полез?

— А ты почему полез?

Васька усмехнулся; наверно, не только из страха отвечают люди на вопрос вопросом, наверно, не только из желания уколоть и не потому только, что не хотят быть искренними с первым встречным, не только из ложной скромности. Иногда они это делают, чтобы не обидеть другого правдой. Ему было приятно смотреть на Славку, и он смущался, словно пересматривал картинки, нарисованные им в раннем детстве.

Его взгляд как бы охватывал Славку со всех сторон,

проникал внутрь. В Славке бродили еще отголоски обиды, объяснить которую он бы не смог даже в минуту самой глубокой откровенности. Славка отводил глаза, растерянно комкал лоб и белесые брови.

— Ты на моего младшего брата похож, — сказал Васька. — Он у меня такой же чудак.

Славка подумал: «Плывать мне на твоего брата. Подумаешь — брат. Ни на кого я не похож. Я сам на себя похож... Столкнуть бы этого Ваську в воду. Только он сильный, черт».

— Не такой уж ты и большой, — сказал Славка.

— Наверно.

— Я думаю, Варька-Сонета посильнее тебя.

— Может быть.

Славке хотелось реветь. Что-то уходило из него, и он сдавался проклятому Ваське. Славка спросил:

— Кем ты хочешь быть?

— Не знаю еще.

— Тебе четырнадцать, и ты все не знаешь? Ты что, глупый? — Славка сам испугался своего нахальства — даст сейчас по башке. Но Васька спокойно растянулся на досках и уставился в воду.

— Жми, — сказал он.

«Врет этот Васька. Уж он-то, наверное, знает, кем хочет быть. Просто скрывает, чтобы меня не обидеть. А может быть, он себе секретное дело выбрал...»

Славка тоже уставился в воду. Течет вода. Почему люди подолгу вглядываются в ее световую игру? Они видят в ней свои мысли. Видит Славка себя стоящим на междупутье. Рот у него открыт. Мимо проносятся поезда. В разные стороны. Кричат и криком отрывают людей от земли. Славку треплет горячий вихрь — ветроворот. Славка стискивает зубы до боли в челюстях... Поворачивается на спину. Смотрит в небо.

На пирсе шумят рыбаки. Они выгружают из сейнера рыбу, требуют у председателя новые сети.

— А на что я куплю, — отвечает им председатель. — Капитан Илья пригонит флотилию, там все новое, нарыбалитесь вдоволь.

И рыбаки умолкают. Они ждут флотилию. Весь город ждет флотилию.

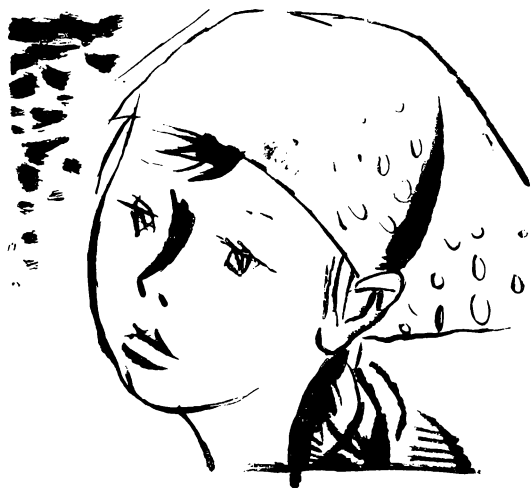
Славка снова поворачивается на живот, смотрит неуловимое движение воды.

«Убегу, — думает Славка. — Придет флотилия, я залезу на главный корабль и уйду с ними в Африку».

«Убежит, — глядя на Славку, думает Васька. — Убежит, как я убегал, как до меня убегали миллионы мальчишек. Где-нибудь в Дарданеллах Славку обнаружат матросы, отругают, не жалеючи его слабого возраста, и отправят на встречном судне обратно к отцу».

Славка поднимает голову от зачарованной солнцем воды, смотрит на горизонт. Горизонт растворяется перед ним. Оттуда, из-за земной округлости, появляется флот. Флот заслоняет весь горизонт белыми парусами. Сколько их? Тысяча. Впереди главный корабль с крутым и бесстрашным форштевнем.

— Убегу, — шепчет Славка.





ЖАРА

Солнце приглушило звуки, погасило краски, солнце захватило власть над землей.

Давно не было шторма. Рыба ушла из лимана в море, к свежим волнам. Только бобошка — несмысленная мелочь — шныряет у берегов. А вместо чаек над отмелью вьются вороны. Они широко открывают клювы. Они храпят:

«Хар-рр...»

Хрип этот гложет, словно падает в пепел.

Вода в лимане густая. Горькая. Дно затянула морская трава. На ней пузыри и улитки. Иной пузырь оживет вдруг, всплывет на поверхность и лопнет.

Воздуха почти нет. Воздух поднялся ввысь.

Неподвижный лиман вспыхнет то справа, то слева. Будто искры в ровном огне побегут, побегут и рассыплются. Иногда в глубине вспыхнет. Варька попробовала на каждую вспышку положить голос:

— А... А-а... А-а-а... А...

Ожило море, заговорило. Звуки, никому не слышные, кроме Варьки, обступили ее, закружились. Вонзились в нее иголками. Звук у горящего моря как тысяча колокольцев. Они бегут, догоняют друг друга, рассыпаются в разные стороны, замолкают и снова бегут. Вокруг громадного темного колокола. Колокол раскачивается, спрятанный в искрах. Грозное било ударит сейчас о металл, и взревет море...

А может, самой зареветь во весь голос...

ВАРЬКА ДУМАЕТ ОБ ИЗМЕНЕ

— Изменник ты, Славка. Телячья душа. Слабый ты и пустой, как та камышинка, как та солома. Мне моя бабка давно говорила: «Сторожишься, Варька, слабых людей. Они на все способны, если их жизнь пихнет».

«Самое синее в мире, Черное море мое...» — запела она, словно радуясь одиночеству.

Раскрутила удилище над головой, хлестнула леской по воде. Бычки-недоростки бросились из морской травы под камень. Но тут же кончилась радость, уступила место печали.

Славка ушел с Васькой!

Варька помнит тот день. Ладони у Васьки были изодраны. В открытые ссадины въелась ржавчина. Кровь была у него на животе, на ногах. Варька всхлипнула прямо ему в лицо. Но он ее не заметил.

Вот за это, за свою слабость и унижение она презирает сейчас Славку. Прогнала его, когда он пришел на сван.

— Проваливай! Верхолаз.

Славка потупился.

— Варька, мой отец в Москву собирается. Как думаешь, может, они помирятся с мамой?

— А мне плевать! На тебя и на твоего Ваську. Урод он сушеный, моллюск в тапочках.

Славка ушел.

Жара пухнет в Варькиной голове, озлобляет Варькины мысли. Хоть бы завывли ветры, закружились со свистом.

Выдернула бычка. Вороны ринулись на рыбешку.

— Геть, стервюги! Туда же, нахальничают!

Рыбу Варька терпеть не может. Рыба беззвучная, глухая. Варька сдавила бычка в кулаке — хоть бы крикнул! Швырнула воронам.

— Жрите!

Вороны заметались в солнечных бликах.

Да что он такое, что он из себя представляет? Приезжает, как к себе домой. Ходит по городу как хозяин, с капитанами здоровается за руку. Приезжали сюда курортники — куда ему. На собственных автомобилях, с собственными катерами. Они не вызывали в Варьке никаких чувств, кроме смеха. Они словно из другого государства. И ходят не так — прогибают ноги, как журавли перед взлетом, да не летят. Говорят иначе, да смешно слушать. Песни поют другие, да голосов нет. Смотрят на всех сквозь темные очки, словно всю жизнь прожили в сырых подземельях и теперь боятся, что обожжет солнцем их слабое зрение. Бабка вежлива с ними на рынке до издевательства. Девчонок называет любезными барышнями, мальчишек — кавалерами, женщин — непременно мадам.

Варька иногда садилась на берегу поближе к курортникам и, словно уйдя с головой в рыбную ловлю, напевала вполголоса. Забывалась как будто, пела громче и громче. Курортники окружали ее кольцом, бросив свои забавы. Стояли тихо. Они просили ее спеть еще, но она собирала удочки и уходила. С ней здоровались, говорили: «Позвольте, мы вас сфотографируем на память».

— Гони их все чисто! — набрасывалась на нее бабка. — Рано тебе ухажерничать. Я из твоих кавалеров все ухажерство вышибу. — Бабка гонялась за мальчишками. Они разбегались, как гуси.

Варька слезла со сваи. Мелким шагом направилась к берегу. Забралась под перевернутую лодку-каюк. Принялась разгребать сыпучий песок до прохладных

слоев. Сняла кофту, брюки и легла, чтобы чуть остудиться.

Бабку Варька любит, хоть и стыдится ее иногда. Чувствует Варька в ней непонятную силу, яркую и безалаберную.

Бабка смеялась над всеми. Никому не позволяла смеяться над собой. Этому и Варьку учила. Бабке на все плевать. У нее только две страсти: базар да ненависть к старику Власенко.

Базар для бабки важнее молитвы, хоть и крестилась она, грохнув на колени под закопченной иконой. Хоть и бегала она в церковь, крашенную сплошняком, от крестов до фундамента, серебряной краской. Варьке казалось всегда, что обращенные к спасителю сухие бабкины губы шепчут:

— Господи, фунт, он, известно, фунт, но его еще взвесить нужно.

На базаре бабка чувствует себя важной птицей. Она на базаре — как в битве.

Когда бабке нечем было торговать, она будто ссыхалась. Руки у нее болтались, словно пришитые, голова опускалась на грудь, и бабкины глаза, черные, с ломким блеском, тлели, угасая без дела.

У бабки до старости сохранился красивый голос. Она запевала старинные песни, и Варькино сердце сжималось от удивления.

— Ох же ж, я девкой певала, — хвастала бабка. — Я ж была, как та царица, красивая. И грудь, и плечи... Только у меня голос был лучше. И ходили за мной хлопцы, как дикие кони... И этот чертов старик Власенко тоже по мне сох и сокрушался. Чтоб у него ребро выскочило не в ту сторону. Чтоб он окривел. Чтобы борodu его моль съела.

Завалив уничтожающими словами старика Власенко, бабка упирала взгляд в одну точку, в гвоздь, например, или выключатель. Она принималась бормотать равномерно и скоро, словно насаживала на нитку стручки жгучего перца.

— Я, Варька, не по главной струе пошла. Куда-то в сторону черт занес, прости меня, господи...

Кабы я в главной струе шла, я и за сто человек тащила бы с радостью, я ж очень дюжая, не то что этот рыбацкий пастух — старик Власенко. Я бы, может, с ми-

нистрами зналась. Сидела бы сейчас в меховой горжетке да на бархатном кресле. Читала бы книжку-роман на иностранном языке и серебряной ложечкой кушала бы заварной крем с розетки.

Варька спросила однажды у бабки про коммунизм. Бабка пригорюнилась, посмотрела на свои руки.

— Это же по потребности... Какая у меня потребность? За вами белье стирать да на базар бегать — душу свою тешить. По этой потребности я и получу в коммунизме то же самое. Только, может, базары тогда будут бесплатные. Ну, да мне все равно. А вот если бы я была, к примеру, знаменитой певицей, и потребность бы у меня была другая. Рояль обязательно. Квартира в столице и с лифтом. Автомобиль, чтобы не простужаться. Дача для отдыха... Поняла, что ль?

В бабкиной философии Варьке всегда чудилась зависть и еще что-то похожее на обиду.

В доме бабушка вершила власть. Варькин отец, человек слабый, не то чтобы боялся ее, но стушевывался перед ней, как осенний день перед бурей.

Раньше отец работал судовым механиком. Пашка и Петька, братья-погодки, были совсем малыши. Пашка совал в рот свою ногу, Петьку только что принесли безыменного. Две беды случились тогда. В роддоме умерла мама. Напившись с горя, отец спалил бабкину хату. Он получил много денег. Варька видела несколько пачек. Уснул на кухне. И никто не знает, как он поджег хату. Варька проснулась от кашля. В ушах звенело, словно залезли туда ядовитые комары. Прижимаясь к земляному полу, она поползла к двери. У дверей ее подхватила бабушка. Она уже вытащила малышей в сад. Бабушка оставила их в саду, пошла за отцом. Выволокла его из кухни, когда на нем уже тлела одежда.

Хата горела странно. Огня не было. Только дым и красные змейки в лопнувших стенах. На чистом воздухе отец пришел в себя, закричал дико, побежал обратно в хату за деньгами. Но она занялась вдруг, треснула и обрушилась, рассыпав по всему саду тусклые искры.

Бабка сказала отцу:

— Я на тебя, Петро, зла не держу. Плохо тебе не сделаю — у тебя ребятишки...

Старик Власенко взял их к себе. Бабка к нему не пошла. Бабка пришла на похороны. Своей умершей дочке Раисе повесила тяжелые золотые серьги с камнями.

— Откуда такие? — спросил отец.

— Я участок свой продала. И с садом.

— Зачем же мамке такие серьги? — заревела Варька. — Она же их не увидит.

— Чтобы ты видела. Чтобы мамку не забывала... Чтобы все вы мою Раису помнили! — Она оглядела с вызовом всех пришедших на кладбище. Остановила горячие глаза на старике Власенко.

— А ты зачем здесь? — спросила. — Радуешься?.. Не радуйся, у меня внуки остались, а у тебя никого.

— Это место не для раздоров, — ответил старик.

Когда опустили гроб, бабка первая бросила горсть земли в могилу и, не дожидаясь, пока закопают, пошла.

Вечером она появилась во дворе старика Власенко. Вызвала отца.

— Если ты здесь жить надумал, — сказала она, — живи. Только я тебя прокляну и ноги моей у тебя не будет. Не хочу, чтобы Васька, этот вот старый ирод, — она ткнула пальцем в деда, — над моими последышами власть имел.

Старик Власенко вывел бабку на улицу. Сказал ей:

— Ты, Ольга, совсем застервела. Иди, не рви Петру сердца, оно и без того горем схвачено...

Ожесточенные души не слышат правды — бабка ушла жить на пепелище. Она ничего не откапывала, ничего не искала в золе. Ветер зачернил ее сажей. Бесприютные долгие ночи сделали ее неподвижной, похожей на обгоревшее дерево.

Завхозу сельскохозяйственной школы по должности полагался дом. Хороший дом, кирпичный, с высокой шиферной крышей, с голубыми наличниками. Две комнаты в доме, кухня, прихожая и кладовка. Полы в доме крашенные. Стены белые — ни пятна на них, ни царапины.

Батька привел Варьку сюда, распахнул перед ней дверь.

— Прощай, море, — бормотал батька. — Новый дом, кирпичный. Я, Варька, видишь, какой дом добыл...

Варька, как вошла, легла на пол и заорала:
— Здесь будем жить. Никуда не пойду отсюда.

Батяка засуетился, воспрянул:

— Здесь, дочка, здесь... Крикни громче. Слышишь, как откликается. Признал, значит.

Первые дни за ребятами ходила соседка Ксанка. У нее в том году муж погиб в море. Петька тянулся к ее груди, и Ксанка ревела. И Петька ревел. И Пашка ревел. А Варька кричала:

— Заткнитесь вы! Вот уже бабка придет. Она с вами сладит.

Бабка пришла. Как ни в чем не бывало принялась мыть полы. Потом взяла Пашку и Петьку, понесла в Горсовет.

— Колыхали мы Черное море! — кричала бабка у председателя. — И тебя колыхнем. Не будет тебе моего голоса!

— От вашего голоса у меня уши заложило! — кричал на нее председатель. — Не нужен он мне, ваш голос... Не понимаю, почему крик?

— Как почему? Помещай ребят в ясли.

— Пожалуйста, — сказал председатель. — У нас в ясли — пожалуйста, была бы охота.

Пашку и Петьку поместили в ясли рыбзавода. Ксанка — соседка — кричала на всю улицу:

— Ведьма старая, не жаль тебе ребятишек?! Паучиха!

Бабка сидела у окна, посмеивалась:

— А чего их жалеть? Нешто им в яслях худо? Медицина со всех сторон. Единственно — штаны мочить будут да говорить начнут поздно. А оно и лучше — меньше глупостей наболтают.

Ксанка не терпит Варькину бабушку. Говорят люди, что Ксанка имеет свою цель — хочет за Варькиного отца замуж выйти. Она Варькиного отца жалеет. Это их дело. Варька не против. Ксанка — женщина добрая.

Варькин отец работал через силу. Когда накатывала на него грусть, он ворчал:

— Что я с той должности вижу? Одно унижение. Дела не делаю, а руками махаю. Такая, видать, моя доля.

Иногда отец распалялся, чтобы хоть словом подбодрить свое самолюбие.

— Или я мужик, или я просто так?.. Я это разом порешу! — кричал он и принимался подтверждать свое достоинство.

Шел на базар первым делом. Бабка говорила: «Под колесо». Он и правда возвращался помятым, словно ездили по нему на телегах. Разносил Варьку, Пашку и Петьку «за старое и на месяц вперед». После этого писал заявление об уходе с работы. Все свои заявления он заканчивал фразой: «Рожденный плавать — пахать не может».

Ставил три восклицательных знака и засыпал за столом.

Бабка говорила:

— Герой. Тебе такие дела не по рылу. — Она рвала отцовские заявления.

Отец шел на работу. На него сразу наваливались дела. В суете, в виноватости, он на долгое время забывал свою гордость.

Недавно пришла Варькина бабка с базара, принесла одесскую газету. Закричала:

— Смотри, этот рыбий пастух и сюда пролез. Ох, я бы ему в очи плюнула за его жадность. И чего всюду лезет?

В газете был помещен портрет старика Власенко. По бокам — Васька и Славка. Статья называлась: «Простой, скромный труженик».

— Был бы скромный, лежал бы на печке. Уже ж ведь давно на пенсию вышел. Нет, он желает выше всех стать! Ишь орденов нацеплял, тараканий полковник. По базару ходит, как губернатор. Тыфу!

— И куда ему столько богатства? — горячилась бабка. — Пенсию получает, за сторожку зарплата идет, дочка каждый месяц шлет переводы. И от рыбнадзора ему какой-нибудь куш есть, иначе зачем по базару шныряет? Канавы в плавнях роет зачем? Он там, проклятый, рыбу ловит и подзаныр продает. Он и есть непойманный браконьер.

Бабка нашарила карандаш, пририсовала, послюнив, старику Власенко рога.

— Вылитый черт, — сказала она.

Варька взяла у нее карандаш, пририсовала Ваське усы и ослиные уши. Ей было грустно и тошно.

ВАСЬКА ДУМАЕТ О ВАРЬКЕ

Рано утром, чуть свет, старик Власенко, Васька и Славка погрузились в каюк — пошли в плавни исполнять работу, которая иным кажется придурью от безделья.

Чуть шипит вода у бортов. Мальчишки гребут — не плещут, их старик научил. Вода от зари будто радуга. Кажется, даже на вкус разная. Где розовый цвет, там она сладкая. Где желтый — кислая. Где заря воды не коснулась, — вода темная, ее вкус горько-соленый. Воздух дрожит в ожидании солнца.

Славка толкнул Ваську локтем.

— Жаль, что Варька с нами не хочет... Тебе она нравится или ты выше?

— Выше! — заорал Васька.

Славка посмотрел на него грустно. Сказал:

— Не ори...

Он промахнулся веслом. В брызгах над лодкой вспыхнуло семицветие.

— Красота, — прошептал Славка.

На нежных заревых красках они увидели отражение землечерпалки. Землечерпалка стояла в широком водном канале, который уже успела прорыть минувшим днем.

Старик Власенко велел мальчишкам гнать лодку быстрее. Он суетился на корме, вставал, чтобы взглядом поспеть вперед.

На носу землечерпалки стоял мастер в трусах и домашних шлепанцах с часами «победа» на волосистом запястье. Он уставился на старика непробужденными глазами.

— Здравствуйте, — поклонился ему старик. — Извините, для какого же дела вы сюда в камыш забились?

— Канавы копаем для рыбных мальков... — Мастер втянул носом розовый утренний воздух, сморщился, как от крепкого нашатырного спирта, выгнал блаженным чохом остатки сна и конфузливо улыбнулся. Он узнал старика по картинке в газете, сказал «здрасте» и выпалил, словно ему поручили сообщить деду радостное постановление:

— Вы, дядя, теперь ступайте обратно на печку. Про-

должайте, товарищ, свой заслуженный отдых. Мы тут колыхнем это дело враз.

Мастер объяснил уважительно, что землечерпалку нарядили сюда из рыбного треста после статьи в одесской газете, потому что много пришло от народа писем. Они постояли, покуривая и покашливая, чтобы израсходовать время вежливости и приняться за свои прямые дела. Пожав руку мастеру землечерпалки, похвалив начальство, которое подумало, наконец, о рыбьем приплоте, старик сел в лодку и пустился в обратный путь.

Всю дорогу домой дед молчал, сидел к мальчишкам спиной. Он как будто не радовался за мальков, которые надышатся теперь от морской волны, наберутся сил, чтобы жить.

Дома старик улегся на печку, выставил бороду вверх, неподвижный и молчаливый. Потом пугливо вскочил и пошел в сад. Он бесполезно топтал комковатую землю под шатровыми яблонями, отозревшими легкими вишнями, под ветвями пахучей айвы, которую в этих местах называют гутулей. Бабка Мария тоже гуляла в саду — делала вид, будто сердится на сорняк — траву, проросшую под деревьями. Она дергала дикие стебли, складывала их на руку снопом.

— И чего вы сегодня ходите? — говорила она деду. — Вы бы легли на диван.

Старик глядел в засохшее небо.

— Не лягу я на диван... Я теперь, Мария, навсегда лягу. Вот здесь, в небесную тень под забором...

— Мария, готовьте мое снаряжение. Пора мне бежать к сотоварищам.

— Может, вам для такой цели новый костюм надеть и штиблеты?

— Не смейтесь, Мария. Я перед сотоварищами во всем рыбацком предстану.

Бабка отряхивала корни травы. Старик смотрел на нее долгим сердитым взглядом.

— Какая у меня перед людьми должность? На базаре даже эта глупая Ольга подзаныром торговать перестала. В затоне на судах вахтенные дежурят. А я, выходит, забор стерегу. Говорят, по традиции. А уж какая это традиция — забор охранять... Была от меня польза рыбьим малькам, чтоб не гибли. Сколько я за

три года канав накопал, столько землечерпалка за три дня наработает.

Мальчишки сидели возле дверей на скамейке, опустив грузные от сочувствия головы.

— Все из-за твоей газеты, — прошептал Славка.

— Мелешь, — ответил ему Васька тоже шепотом.

ВАРЬКИНА БАБУШКА ГНЕТ СВОЮ ЛИНИЮ

Варька шла домой. Чтобы не думать ни о чем, она пела.

Возле Варькиного дома куры ныряли в горячую пыль. Пашка и Петька боролись в обхват. Варька брызнула на братьев водой из ведра. Братья воинственно зашумели носами.

— Вы, самоеды, бабушка где? — спросила Варька.

Братья переглянулись. Встали рядом, подтянули штаны повыше, к самому горлу.

— Батька бушует, — сообщил Пашка.

— Он тебя драть будет, — сказал младший, Петька, жалостливо оттопырив губу. — Нас уже драл.

Варька поставила рыбу на крыльцо. Батька дерет не шибко, он больше ярится и делает вид, что страшен. Придется побегать. По такой жаре!

На крыльцо выскочила бабка. Босиком. Закричала на братьев:

— Я вам чего велела? А вы чем занялись?

Братья трусцой побежали к забору, к большой куче будыля. Набрали по охалке и направились в дом. Впереди Пашка, позади Петька, выпятив животы барабаном.

Бабушка увидела ведро с рыбой. Схватила его, заметалась по двору.

«Окатить бы себя водой из колодца», — подумала Варька.

Бабка спрятала рыбу.

— Бушует, — сказала она. — Ты уж, Варька, не возражай.

Бабушка подтолкнула Варьку в дом, впереди себя. Заголосила с порога:

— Да нешто я думала!.. Упаси бог, я по дурости! Бабушкин голос стал пустым, визгливым — словно скребли по железу.

Отец прицеплял возле зеркала галстук. Ворот поло-сатой рубашки был смят.

— Варька, — сказал он, — попроси мою тещу, твою разлюбезную бабушку, пускай она смолкнет.

Отец заправил рубашку, стянул брюки ремнем туго, так что слова у него стали прерываться и хрипнуть. Ворот рубахи не слушался — торчал вперед.

— Я вам кто?! — закричал отец, подскочив к бабушке. — Вы чего добиваетесь? Чтобы я сам себе в лицо наплевал? Чтобы я потерял о себе последнее представление?

Бабка собирала на стол тарелки. Она вздыхала, с раскаянием закатывала глаза.

— Я же ж сослепу. Не шуми, свою крупицу и воробей тянет.

Пашка и Петька деловито толкались у плиты. Пихали в топку будылье. Разговор с ними уже был закончен. Они чувствовали себя в полной безопасности. Они теперь были зрители и с нетерпением ждали, когда отец примется за свою старшую дочку. Варька погрозила им кулаком. Братья безжалостно ухмыльнулись.

Бабка нарезала хлеб.

— Ты хоть поешь, — сказала она отцу.

— Не буду... — Отец накинул суконный пиджак. — Варька, скажи моей теще, пусть не заботится. Я знаю, где я поем.

Размашисто перекрестясь, бабка крикнула:

— Господи!

«Ужас, — подумала Варька, — такая моя семья. Бабка только и говорит о гордости, а у самой ее ни на грош — одна хитрость. Батя? Он и на мужика-то похож, только когда небритый. Разве отец этого ненавистного Васьки стал бы так вести себя? Наверное, когда входит он в свою коммунальную квартиру, все встают, даже если и не видят его». Коммунальная квартира представлялась Варьке просторной, в коврах, с зеркалами и креслами. Варька стала возле дверей, придала себе гордую, независимую осанку.

Братья вскочили из-за плиты. Им уже надоело ждать. Они жаждали справедливости.

— Папка, Варьку забыл, — сказал Пашка.

Петька ткнул в Варьку пальцем.

— Варька-то, вот она, дожидается.

Отец повернулся к Варьке. В его глазах не было злости. Он не тарашил их, как бывало, чтобы напугать. В отцовских глазах Варька заметила тоску и обиду.

— Эх ты, — сказал он. И, скорее по привычке, потянулся к ремню.

— За что? — Варька попятилась к двери.

«Дура, чего стояла?»

Отец выдернул ремень с треском.

— И говорить мне с тобой неохота, торговка. — Он топнул ногой, как бы подав сигнал к началу.

Братья замерли в восторженном ожидании. А Варьке что ждать — дверь открыта.

Батька драл Варьку за соответствие. Он говорил: «Если ты на рояле играешь, нечего тебе на базаре делать. И вообще».

Батька никогда не договаривал своих мыслей, считал: если родитель дерет, — стало быть, учит.

Крыльцо... Сарай... Колодец...

Возле сарая вильнуть — отец непременно споткнется о старые оглобли, заросшие травой. Он об них всегда спотыкается... Варька вильнула, обернулась и спросила:

— За что?

— Знаешь, — пропыхтел отец. — Сговорилась с бабкой меня позорить. А за побег тебе будет прибавка. — Он поднялся, отряхнул штаны. — За ловушку тоже. Я колено ушиб.

Отец замахнулся, и вдруг ремень выскочил у него из кулака, словно зацепился за ветку. Отец пробежал немного по инерции. Обернулся. На заборе сидел мальчишка. Держал в руке ремень и вежливо улыбался.

— Извините. Я не нарочно...

— Ладно, — без злобы сказал отец. — Он взял у мальчишки ремень, затянул его туго поверх брюк. — Не люблю, когда люди на заборах сидят. Слезай с забора.

Варькой овладел испуг более сильный, чем страх перед батькиной поркой. «Откуда он появился? — думала она, глядя на Ваську. — Если ему уж так нужно прийти, пусть бы пришел потом».

Варька шмыгнула за сарай.

Из плохо обмазанной стены сарая торчали камышины. Слышно было, как возится, похрюкивая, поросяенок.

«Этому только жрать», — с неприязнью подумала Варька. Она села на жестяную траву. Прижалась спиной и затылком к стене. Тень от сарая не прикрывала колен.

Прямо перед Варькой подсолнухи. Целое поле. Будто сто тысяч лиц уставились на нее. Варьке стало не по себе.

— Бесстыжие, — прошептала она.

Подсолнухи словно ждут чего-то. Наверно, ветра. Тогда они заговорят, заволнуются. Станут хлопать шершавыми листьями. У Варьки такое чувство, словно она чего-то ждет, и даже знает чего, да только ей от этого одно унижение.

Подсолнухи уже не похожи на лица, они похожи на равнодушные черные затылки в желтых венках. Значит, толпа повернулась к Варьке спиной — презирует.

Зашуршала трава. Варька не повернулась на звук, только подобрала под себя ноги, сжалась вся. «Если он усядется рядом, повернусь и влеплю ему кулаком со всего маху».

Он уселся рядом.

— Варька, твой отец сюда идет. Может, тебе лучше удрать?

Варька не успела решить, что ей лучше, как из-за сарая вышел отец. Он посмотрел на нее, вздохнул и, поправив галстук, зашагал вдоль поля к двухэтажному зданию сельскохозяйственной школы.

— Он у тебя всегда такой? — спросил Васька.

— Нет. Не всегда. По вторникам... — прошептала она.

— Сегодня четверг, — сказал Васька.

Варька прикусила губу. «Если он меня тронет, повернусь и... скажу, чтоб проваливал».

— Ты не огорчайся, Варька, — заговорил он. — Первые беды самые горькие, но не самые большие...

«Конечно, — думает Варька, — тебя, наверное, никогда не лупили родители. Тебе легко умничать».

Варька не слушала Ваську и только думала: «Зачем он все говорит? Может быть, замолчать боится?»

Васька взял ее за плечо.

— Варька, бабка тебя околпачивает. Она же все для себя старается.

Варька обернулась. Сказала:

— Какой ты умный.

Она думала, он замолчит. Но он отмахнулся. Тогда Варька сказала еще:

— Откуда у тебя такое нахальство — приходить и учить?

Он смутился, забормотал:

— Я же с добрыми намерениями...

— А если другому неинтересны твои добрые намерения?

Он сник сразу. Прошептал:

— Да?.. Ты так думаешь?

«Уйдет, — подумала Варька, — пусть бы уж говорил...»

— Варька, — услышался сухой бабкин шепот. Бабка вышла со двора. Огляделась.

— Куда пошел батька?

— В школу.

Бабка подобрала губы. Грудь у нее стала подниматься. Руки легли на пояс.

Варька покосилась на Ваську и покраснела.

— Хиба ж я со зла? — начала бабка негромким голосом. — А может, я по ошибке. Глаза ж у меня теперь старые... А кто мою хату спалил?! — вдруг закричала она. Махнула кулаком в сторону сельскохозяйственной школы. Ударила себя по бедру. — Кабы знала, какой ты есть человек, ни за что бы Раисе не позволила за тебя замуж идти. На порог бы легла.

У бабки кончился воздух. Она деловито отдышалась. Хотела набрать новую порцию, но тут ее взгляд упал на мальчишку.

— А это что за огарок?

— Спроси, — прошептала Варька.

Бабка подошла ближе. Вцепилась в Ваську глазами.

— Чи ты дикарь, чи у тебя штанов нету?

— Есть, — сказал Васька. — Труссы...

— Отворотись, — скомандовала бабка. — Мне на тебя смотреть совестно.

Васька засмеялся.

— Какая разница, если я отвернусь? — сказал он. — Лучше уж вы отвернитесь...

— Какие нынче дети растут! — заговорила бабка на одной скучной ноте. — У вас на плечах головы? А может, печные трубы без вьюшек? А если я тебя по твоей голой коже крапивой нашпарю? Ты сюда зачем заявился?.. — Бабка перешла на залихватый крик: — Репейные шишки! Крапивное семя! Весь город испоганили своим мерзким видом. Курортники! Водохлебы!.. Варька, гони его в шею!

Варька не шелохнулась. Она сидела закусив губу. Смотрела на подсолнухи, и в глазах у нее были слезы. Они не катились по щекам, не сыпались градом, они светились узкой тоскливой полоской по нижнему веку.

Бабка глянула на нее, сообразила что-то мгновенно и повернулась к Ваське, распустив улыбку по всем морщинам.

— Ты, хлопец, меня извини. У меня же ж характер шумный. Ты приходи в дом. Варька ж мне не открыла, что у нее такой славный дружок заимелся. А я все сгдываю, аж сомлела от мыслей...

Слезы у Варьки высохли. Она уставилась на свою бабку в недоумении.

Бабка умолкла вдруг и, путаясь в юбке, побежала к дому.

— Что с ней? — спросил Васька.

— Не знаю, — сказала Варька. — Я и сама не пойму, что тут сегодня творится...

От сельскохозяйственной школы шли трое: Варькин отец, директор и главный агроном. Отец шел впереди. Он казался усталым.

Варькой завладела тревога, ей вдруг стало мучительно жаль отца.

— Уходи, а... — сказала она.

Васька кивнул. Поднялся и торопливо пошел.

— Совсем уходи! — крикнула Варька, не желая, чтобы он послушался ее, и боясь, что он все-таки послушается.

Директор и агроном открывали сарай. Лица у них были сосредоточенные и угрюмые.

Во дворе вертелись Пашка и Петька. Бабка стояла на крыльце безразличная.

Когда мужчины скрылись в большом сарае с шиферной крышей, бабка вытащила рыбу из-под кадушки. Поспешно прикрыла ее полосатым передником;

— Пойду, колыхну базар, — сказала она.

Варька сморщилась.

— Не вороти нос, — зашипела бабка. — Лишний рубль и судье не помеха... Для кого я стараюсь?

Из сарая вышел отец.

— Стыд, — сказал он. — Чем отдавать?

Бабка спрятала ведро за широкую юбку. Подбоченилась.

— Если ты у меня пытаешь, я лучше в тюрьму пойду. Продай, если надо, свой новый костюм и штиблеты продай. На тебе они все одно, что на вешалке — без пользы трутся. Я Варьке инструмент купила. Да! — крикнула бабка. — Купила!

Варька поймала усталый, униженный взгляд отца. Ей хотелось крикнуть: «Не хочу я ничего, оставьте меня в покое!» Но отец опередил ее.

— Варька, — попросил он, — скажи моей теще, чтобы она мне нервы не портила. Другая бы на ее месте онемела совсем или охрипла, по крайности... И вот еще. Чтобы на базаре я ее больше не видел. Это мое последнее слово.

Бабка показала ему ведро с рыбой.

— Страсти господни, поди, как я испугалась. Ты для меня что та головешка — огня нет, только чад да угар.

— Вы мне за хату мстите? — тихо спросил отец.

Бабка посмотрела на него с сожалением.

— Мстят сильному, над такими, как ты, смеются. — И, втянув голову в костлявые плечи, пошла со двора.

Пашка и Петька глядели на Варьку блестящими глазами.

— Ну, что вы ликуете?

Братья ответили один за другим:

— Бабка проворовалась. — Им было до смерти интересно.

Бабка проворовалась! Она продавала на базаре удобрения, сортовые семена, даже рукомойник, принадлежавшие сельскохозяйственной школе.

— Это из-за тебя, Сонета, — сказали они.

— Почему из-за меня? Разве я больше ем?

Братья сконфуженно глянули на свои животы.

— А зачем бабке рыбу ловишь? — пробормотали

они. — На пианину? Ксанка говорит, пианино-то стоит дороже хаты.

Варька пошла к калитке и остановилась: испугалась, что столкнется с Васькой.

Она толкнула ногой, вышла на улицу. На улице пусто. Только куры ныряют в горячую пыль.

ВАСЬКА РАЗГОВАРИВАЕТ С ВАРЬКИНОЙ БАБКЕЙ

Земля жесткая, окостеневшая от жары. Все белесое, даже небо, словно на нем лежит толстый слой пыли.

— Нельзя допустить, — бормочет про себя Васька. — Нужно за нее заступиться.

Со двора выскочила Варькина бабка с ведром рыбы. Прошла мимо него сосредоточенная.

Это она заставляет Варьку ловить проклятых бычков!

Васька догнал бабку. Забежал вперед, заговорил:

— Извините. Я хочу вам сказать. Вы не имеете права! Вы эгоистка!

Он ожидал, что бабка сейчас заголосит, примется поносить его, как она поносит всех, кто ей попадает под руку. Но бабка слегка пригнула седую голову, спросила радушно:

— Слухай, хлопец, ты, что ли, дурак или тебе голову напекло? А может, ты слишком умный и поэтому дураком кажешься?

Он оторопел от такого.

— Конечно, — сказал, — может быть, я выгляжу странно... Но вы губите Варькин талант!

Бабка шлепнула его по спине насквозь протруженной шершавой ладошкой.

— Ох же ж ты, бесова бородавка, ох же ж ты, невежа паршивый, я тебя давно приметил. Все думаю: что это за огарок бегаёт? Так, говоришь, у Варьки талант?

— Да, — сказал Васька.

Бабка вздохнула.

— Она же ж в меня голосом удалась. А вот харак-

тер у нее слабоватый, в дочку мою, в Раису. Но ничего, я ее в люди вытолкну... Она мне откроет ту дверь, что в парадную с лифтом. — Глаза бабкины сделались пронзительно узкими. Бабка подхватила ведро. Сказала: — А ты поди все-таки надень штаны для приличия.

Васька кинулся к забору. В этот момент отворилась калитка. Со двора выскочила Варька и пустилась бежать вдоль улицы. На Ваську глядели Варькины братья.

— Куда она побежала? — спросил он.

— А кто ж ее знает, — ответили братья. — Она же ж вся в бабку, — что хочет, то и творит.

Васька пустился за Варькой... По раскаленному розовому булыжнику, по тротуарам из темно-красного кирпича, уложенного красивой елочкой. По деревянным шатким мостам. Мимо щедрых июльских садов.

БАЗАР В ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Над базаром гомон:

— Цыбуля ядрена! На пять метров слезу вышибает!

— А вот чеснок! Кому чеснок? От простуды и от мигрени нюхать. И в колбасу и в борщ. И огурцы солить и с салом кушать.

— Ряженка... Берите, дядька, ряженку...

Что еще будет, когда подойдут главные фрукты. Сейчас скороспелка — сорта слабые.

Девушка-колхозница, золотистая, крепкая, как товар на ее прилавке, крикнула Ваське:

— Человек, покупай мои яблоки! — Подала ему луковцу.

Парень в мичманке, смотревший на нее через головы покупателей, подошел и раскланялся.

— Уберите ваш продукт, — сказал. — Он для этого гражданина еще горьковат. Гражданин пока сласти любит.

Колхозница коснулась парня смешливым взглядом.

— Он и для вас еще горьковат, — сказала.

Васька проталкивался вдоль овощных прилавков к рыбному ряду.

Кто-то взял его за руку — рука маленькая. Он посмотрел вниз — Нинка. В белом платьице, коса на затылке кренделем. В руке держит бочонок с медной ручкой.

— Здравсте. — Нинка стоит криво, боится поставить бочонок на землю. — Сегодня праздник будет, я уже третий раз за вином прибегаю.

— Больше пойти некому? — спросил Васька.

— А кто же пойдет? Мамка пироги замесила, батька речь пишет. Говорю, праздник.

Васька взял у Нинки бочонок.

— Мелешь. Какой еще праздник?

Нинкины глаза заполнены тайной. Они у нее на лице отдельно.

— Секрет. . . Я знаю, кого вы ищете. Вы свою Варьку ищете. . . Влюбились.

— Помолчи. Понимала бы, тоже.

Нинка потянула бочонок к себе.

— А я понимаю. Отдавайте вино. Идите к своей Сонете. . . Она скарпена.

— Замолчи, щелчка дам.

— Скарпена.

Васька щелкнул Нинку по затылку.

— Скарпена!

Еще раз щелкнул.

— Скарпена!

Он тянул ее за собой. Оборачивался, чтобы щелкнуть по затылку. И на каждой щелчок Нинка выкрикивала упрямо:

— Скарпена! — Потом она заревела. Спросила: — Зачем вы меня щелкаете, я ж не резиновая?

Он все шел. Мимо овощных рядов, мимо фруктов. Мимо молока и мяса. Мимо вина и пшеницы. Мимо цветов.

Варька пробилась сквозь толпу к столам, где торгуют рыбой. Бабкин голос был слышен издали:

— Рыба-бычок, голова пятачок, туловище и хвост бесплатно. А вот ерш — морской казак, усы, как у Тараса Бульбы. Жарить, парить, уху варить. . . Лещи!.. Судаки!

Варьку она не видит. Кланяется знакомым покупателям.

— Свежих бычков не желаете? Только из волны. Еще пена не пообсохла... Гривенник кучка. — Бабка поливает рыбу водой. Прикрывает ее капустными листьями.

— Вы пятак кричали, — торгуются покупатели.

— Пятачок для песни. Для складности слов. А как продать — гривенник.

Варька тронула ее за рукав. Бабка повернула голову.

— Ах, чтоб тебя! Марш с базару! Чтобы мне, старой, срам через тебя иметь. Опять Ксанка скажет, что я тебя торговать приучаю. Тебя батька за что драл?

Варька дернула бабкину руку к себе, спросила:

— Как жить будем?

— Худо, — сказала бабка. — Отец заявление подал. Уходит он с должности.

«Ну и хорошо», — подумала Варька.

Бабка повторила свое.

— Худо... Жилье отберут.

— Перебьемся.

— А деньги? Бухгалтер сказал, пока деньги не внесет, не получит расчета.

Варька подняла на бабку глаза.

— Отдай ему деньги, бабушка. Возьми со своей сберкнижки.

Бабка вздрогнула, задвигалась вся.

— Что ты плетешь? Я же пианину купила, да боюсь в дом везти, пока батька не успокоится... Побеги, глянь, какая она блестящая... Ты молчи... — И закричала, чтобы прекратить разговор: — Бычки! Покупайте бычки!

— Перестань! — крикнула Варька. Обеими руками сгребла рыбу и сбросила ее со стола. Прямо в пыль.

— Господи, дела твои, — сразу охрипнув, прошептала бабка. Губы у нее стали пухнуть книзу, словно ужаленные. Она замахнулась на Варьку. Варька отскочила.

— Отдай, бабушка, деньги. Сдай пианино обратно. Его сразу купят... Отдай деньги!

Старухины глаза налились гневом.

— Дура. Это я для кого? Для тебя, думаешь? На-

кость... — Она сунула под нос Варьке сухой кулак. — И не подумала бы. Это для таланта твоего. Ты же не знаешь, как загубленную силу в себе носить. Она постучит, она потом с тебя спросит. Она из тебя всю радость высосет... Иди, иди...

— Отдай! — зашлась Варька. Душа у нее словно оглохла от этого крика.

Бабка надвинулась на нее:

— Ори... Вон курортник, твой ухажер, тож говорит, что у тебя талант есть. Ты бы его послушала, если меня не хочешь. — Бабка кивнула через плечо. Отстранилась. Варька увидела Ваську.

Жаркая сила толкнулась ей в голову.

— А ты чего ходишь? — прошептала она. — Чего ты ходишь за мной? Шимпанзе! Моллюск! Подсматриваешь? Смешно, да? — Она подняла с земли камень-ракушечник и, размахнувшись по-мальчишески, метнула его в Ваську.

НАДЕНЬ СВОИ ОРДЕНА

Нинка вела Ваську по улице. Ей казалось, что сам он идти не может, не найдет к дому дорогу. Иногда она забежала вперед и всхлипывала, шлепая добрыми девчачьими губами. Она промыла ему ранку виноградным вином из бочонка, прилепила к ней лист.

— Теперь сами видите, какая Сонета, теперь не будете меня щелкать.

— Буду, — сказал Васька.

Нинка остановилась, долго смотрела на него исподлобья.

— Вы ей не отомстите, не вздуете ее со всей силы?

— За что? — спросил Васька.

Нинка отвернулась.

— Так и будут вас все обижать, а вы станете улыбаться.

Нинка подошла, отобрала бочонок и, волоча его по земле, побрела в одиночестве к своему дому.

«Нужно ей куклу купить, — подумал Васька. — На память...»

Нинка поднялась на мост, собранный из редких жердин. Коса ее расплелась, прикрыла щеку.

Васька направился к старику Власенко.

Дед бойко ходил в саду. Дергал сорняк-траву, швырял ее в разные стороны. Из открытого окна кухни слышался стук скалки, тянуло парным запахом печеного теста и творога. Бабка Мария пекла большую плачинду в честь Славкиного отца, который только что прилетел из Москвы, и еще плюшки и вареники с вишней готовила.

— Наверное, спит с дороги? — спросил Васька.

— Ни-и, на элеватор усвистал, он же ж бессонный, — ответил старик.

Васька сел на скамейку под хатой. Ранка на лбу саднила. Между деревьями в отдалении был виден лиман. Васька уставился на темную строчку, что отделила море от неба. Светящиеся шары вспыхивали на поверхности и уходили ввысь, разорвав горизонт.

Старик подошел к нему. Поправил лист.

— Может, йодом замазать?

Васька покачал головой. Старик сел на скамейку, прижал его к своему сухому ребристому боку.

— Сегодня дядюшку повидашь. Прибегали ко мне из правления. Просили, чтобы я оделся по форме. Должно, речь говорить придется. Флотилия на подходе. — Старик заволновался, притащил свои фотографии, грамоты, благодарности и ордена. Он показывал фотографии и хвастал, какой он был дюжий, какой молодой. В его гордых словах чувствовалось сомнение, тревога и горечь. — Был, — бормотал он. — Был. Видишь, каким я был. Не могу я этого слова терпеть. Оно будто колокол по покойнику, — сказал он наконец то, что хотел сказать. Спросил: — Как думаешь, возьмет меня капитан Илья на флотилию, не погнушается моим возрастом? Не побоится, что я умру в океане? .. Ну, привяжет мне железяку к ногам — и в воду. И все заботы... — Старик засопел, распрямляя упрямые свои плечи под линялой, редкой от долгой носки рубахой. Ударил задеревеневшими от работы руками по острым коленям. — Я же ж не буду проситься к нему тралмастером. Хоть засольщиком, хоть на разделку иль бондарем... — Старик повернулся к Ваське. — Васька, ты не укоряй меня. Я ему в ноги паду. Думаю, он уважит.

Васька почувствовал жжение в носу. Он обхватил деда, сунулся ему в грудь разбитым горячим лбом.

— Не проси, дед. Он тебя так возьмет. Это он должен тебя просить. Ты надень все свои ордена. Он обязан тебе первому руку подавать и пропускать тебя по трапу впереди себя.

Старик похлопал его по плечу. Притиснул к себе, засмеялся негромко.

— Вот так, мой Васька. Чего ты разволновался? Я ж не за славу болею. Слава, как песенка, скоро кончается. Поставят меня на трибуне, поведут на корабль. Я речь скажу, пожелаю им доброго плавания, а сам на печку по дряхлости. Если доживу в тоске до их возвращения, выведут меня под руки их встречать. Вот и вся моя слава. Нету такого закона — стариков на флотилию брать. И если возьмет Илья, то возьмет сверх закона, по величию сердца, по уважению и по вере, что я смогу пользу оказать в его деле. В этом и состоит она, настоящая слава.

— Все равно, — сказал Васька. — Надень свои ордена.

Старик встал, распрямился неторопливо.

— Чего ж, я своих орденов не стесняюсь. Я от народа их заработал, народу приятно меня в орденах видеть. Ордена только на работе мешают да в бане.

Бабка Мария высунулась из окна.

— Василий, — сказала она. — Сходи к Наталье за постным маслом. — Бабка увидела лист на Васькином лбу. Соскребла со своих ловких пальцев приставшее тесто. — Иди, я тебя бинтом завяжу.

Васька лежал на той же скамейке под хатой. Смотрел в потемневшее небо. Его растолкал Славка.

— Слушай, — сказал он. — Не знаешь, куда Варька делась? Я ее всюду искал. На сваях нет, дома нет. Нигде нет. Флотилия на подходе.

— Как нет? — вскочил Васька.

— Нету, — сказал Славка. — Пропала.

Васька побежал к калитке, выскочил на улицу и помчался, не зная куда. Он хотел бы помчаться во все стороны сразу. Но человеку не обнять необъятного, и оттого, желая отыскать друг друга, люди чаще всего бегут в разные стороны.

ВАРЬКИНА ПЕСНЯ

Варька ходила в степи. Шевелила ногой травяную крупу. Та крупа устилала землю, как град. Варька це-дила семена трав сквозь кулак. Играла, как дети играют в сыпучий песок.

Переменчива степь и всегда неумолчна.

Солнце в степи встает рано. Зреет на горизонте, наливается соком. Вот, вот... и лопнет оно от натуги, прожжет землю жгучими красными каплями. Небо за спиной темно-синее, густое, бархатистое даже. А где солнце, там словно цветные реки сливаются: оранжевые, розовые, ярко-зеленые и голубые. Выше их яркая звездочка сторожит над миром громадную тишину.

Солнце сотрет все созвездия. А эта, утренняя звездочка, становится ярче.

Солнце взойдет с нею вровень, и она растает, как снежинка от живого дыхания.

В дальних деревнях задымят трубы. Закричат ошалевшие от радости петухи. Зазвенит колокольцами неторопливое стадо.

...Варька шла по краю пшеничного поля. Поле сверкало, как лиман на закате. Звенело, отсчитывало время до того срока, когда загрохочет степь горячим металлом. Запах бензина пересилит все запахи, даже запах моря и запах рыбы. Стада распаленных машин ворвутся из степи в город. Они сгрудятся возле элеватора. Шоферы скупают в магазинах духи, чтобы задобрить приемщиц.

Варька будет мотаться по улицам, как шальная, улыбаясь незнакомым людям с обветренными лицами, с пересохшими от жары губами. Будет падать с ног от усталости. Урожай позовет на помощь себе школьников, солдат, стариков и старух, потому что мало людей в городе, и люди те — рыбаки, у них свое дело.

У Варьки такое чувство, будто не она разбила голову Ваське, будто от его руки трещит ее, Варькина, голова.

Что они знают о нашем городе! Знают, как по холоду, в ноябре, в декабре, идет хамса с моря? Она зали-вает город ночным серебром. Ей нельзя лежать даже лишнего часа.

Знают они, курортники, как со всех сторон, из степ-



ных колхозов, идут фрукты и овощи на консервный завод? Их все больше и больше. Их не успевают перерабатывать, сортировать. А потом — р-раз! — навалится свекла с полей. Крепостными валами ляжет вокруг

сахарного завода. А эти курортники будут ходить в театры. Варька не заметила, как ее ненависть к Ваське распространилась на весь род людской и угасла, как разбросанный в поле костер. Варька еспыхнула.

Мимо нее в город промчалась машина-трехтонка.

Едут в кузове случайные пассажиры, шоферской милостью подобранные на дороге. Поет парень. Встречный ветер срывает песню прямо у него с губ. Люди, у которых нет слуха, любят петь громко. Горланит парень всю глотку. Весело ему и печально.

Да разве так поют. Послушал бы он, как поет Варька, — застыдился бы своей песни. Смеются люди над тем, что Варька присохла к сваям, ловит бычков без конца. А кто бы спросил: зачем?

... Только в новый дом переехали, повела бабушка Варьку на кладбище.

Варька подошла к воротам, глянула на кресты и ударилась в рев.

— Ты не бойся, — сказала бабка. — Они смирные. Они упокойники.

Варька заревела еще громче:

— Вдруг они мамкины серьги отняли?

Бабка засмеялась.

— Помнишь... Ну, сиди тут... И то, чего тебе между могил шататься.

Варька села у ворот. И, чтобы не скучно, запела песню, выводит тонкие звуки.

Варька не заметила, как подошла бабка, села рядом. Бабка начала вторить. Когда кончили песню, бабка сказала:

— Варька, слухай сюда. Я потеряла, ты, Варька, нашла. Но если ты, стерва, разбазаришь свое, я закона не побоюсь, я тебя убью.

— Чего разбазарю? — спросила Варька.

— Песню. Тебе голос от бога дан, от природы.

Бабка сидела обмякшая, виноватая и такая грустная, какой Варька ее еще ни разу не видала. Ни когда умерла мама, ни когда хата сгорела.

С этого дня бабка начала Варьку учить песням. Как верха брать, как паузу сделать в неожиданном месте, как вторить, как выводить первый голос, опережая и в нужном месте поджидая других.

Варька слушала по радио знаменитых певцов. Они ей казались не живыми людьми, а каким-то вымыслом, чудом. Бабка водила Варьку к священнику, черному старику в длинном платье. Священник ставил пластинки на электропроигрыватель.

Иногда в город приезжали артисты. Варька пробиравась в переполненный рыбацкий клуб. Слушала певцов. Певцы держались важно — пели плохо.

Варька пела все время, даже когда молчала. Просыпалась ночью, залезала на подушку — и давай выводить песню.

Батяка ее шлепал за это. Она ему мешала спать.

Когда пошла Варька в школу, петь застеснялась. Все поют про елки, про гусей, про другое — детское. Варька стоит, молчит. Ей стыдно, — нет в этих песнях ничего: ни щемящей тоски, ни ликующей радости — ничего нет, только звуки пустые, как погремушки.

Ставили Варьке двойку. Варька молчала. Переправляли на тройку. С тем и переходила во второй, в третий класс.

В третьем классе учительница пения Сима Борисовна услышала, как Варька пела на улице.

На уроке она спросила Варьку:

— Ты умеешь петь, а почему не поешь?

— Не хочу я петь о зубных щетках, — сказала она, отвернувшись угрюмо.

— Да?.. — учительница постучала карандашом по роялю. Спросила, почти не разжав губ: — Что же ты хочешь петь?

— Играйте, — сказала Варька. Уставилась на учительницу темными глазами, заполненными острым блеском.

Варька запела сильно.

— Взвейтесь кострами, синие ночи, мы, пионеры, — дети рабочих!..

А когда кончила петь, сказала:

— Эту я петь согласна.

— А еще? — спросила учительница, покусывая полные губы.

— Про степь... Или вот эту. — Варька хлебнула воздух. — Исходила младшенька все луга и покосы...

Класс сидел тихо. Учительница подыграла Варьке одной рукой.

Несколько следующих уроков учительница с Варькой не разговаривала. Варька, чтобы не обижать ее, пела вместе со всеми вполголоса. Учительница больше рассказывала ребятам о музыке и играла сама.

Как-то она оставила Варьку после уроков. Проиграла ей несложную мелодию. Варька села к роялю и повторила ее после учительницы. Она схватила ее прямо с пальцев.

— Ты училась? — спросила учительница.

— Не-е...

По щекам учительницы пошла тень, сгустилась на скулах в красные пятна.

— Позови мне родителей сейчас же, — сказала она.

Варька заревела, побежала домой. Она была портфелем по деревьям и по заборам. Дома была бабушка. Пашка и Петька дудели под столом и колотили снизу по столешнице палкой, они болели.

— Тебя в школу зовут, — сказала Варька бабушке.

— Нехай, — отмахнулась бабка. — Чи у меня своего дела нет? Мне вон белье стирать надо.

— Нет, ты поди, — Варька вцепилась в старуху, потянула ее за юбку. — Зачем она говорит, что я вру.

Бабка поглядела в заплаканные Варькины глаза. Потом надела свое самое нарядное платье с оборками. Покрыла голову толстой клетчатой шалью и, выпятив грудь и поводя локтями, направилась в школу. В классе пения она без спросу уселась на стул, расправила широченную юбку и только после этого посмотрела на учительницу.

— Говори, милая, не тяни. Мне еще белье стирать надо.

— Ваша внучка училась музыке? — спросила учительница как можно сдержаннее.

— И-и, милая, — протянула бабка. — На какие такие деньги мы ей рояль купим? У нее одна музыка: Варька, туда! Варька, сюда! Варька, побегни. Варька, носы малым вытри. Вот и все ее ноты.

Учительница молчала, глядела в черный рояльный лак на свое отражение. Бабка уселась поудобнее, тронула учительницу за плечо.

— Слышь, девка, сыграй. Мы тебе с Варькой споем в два голоса.

— Что сыграть? — тихо спросила учительница.

— Про фуртуну.

Учительница слабо улыбнулась.

— Я не знаю... Вы пойте, я подберу.

Бабка откашлялась. Сделала несколько вдохов, словно разогреваясь, и повела низом:

— Задула фуртуна на море...

— Ой, лихо задула, — подхватила Варька высоко и пугливо. Они пели о двух рыбаках, об отце и сыне, погибших во время шторма. О старой матери и молодой жене с малым ребенком. Как молодая жена проклинает море и долю рыбацкую. И убеждает старуха невестку: «Если замуж пойдешь второй раз, только за рыбака иди. Рыбак твоего сына не обидит, станет любить его, как родного. Иначе нельзя рыбаку — фуртуна задует, погибнет рыбак, останутся его дети, и другие рыбаки станут любить их и жалеть, как родных».

Учительница даже к клавишам не притронулась. Когда бабка и Варька закончили песню, глаза у нее были влажные, в красных обводах.

— И вы не учились, — пробормотала она.

Бабка шумно сморкнулась в большущий, словно на-волочка, платок.

— Если бы училась, я бы сейчас в Москве проживала, в самом высоком доме. На лифте бы ездила...

Учительница повернулась к Варьке. Сказала:

— Каждый день будешь оставаться после уроков.

— За что?

Учительница подперла руками голову.

— Вот именно, за что?.. — И добавила: — Буду учить тебя музыке.

Варька училась легко. Пальцы у нее были гибкие, сильные. Учительница показывала упражнения и ухаживала, оставив ее одну в пустой школе.

Ноты роились в Варькиных глазах, как пчелы возле летка. Из месяца в месяц она постигла их строй и музыку песен.

В пятом классе весной учительница сказала Варьке:

— Скоро в рыбацком клубе концерт. Ты сыграешь.

— Не буду, — сказала Варька. — Я для себя играю.

— И песни поешь для себя?

— И песни для себя. Для кого же?

Учительница села к роялю.

— Варька, — сказала она, — я все время думаю о тебе. Мне не хочется тебе говорить, но я должна. Ты пойми, Варька, талант обязывает служить людям. Тогда он похож на родник. Тогда у него смогут напиться многие. Тогда они смогут унести его в свое сердце. И это будет счастьем для тебя и радостью для других.

Варька уловила в ее словах горечь.

— Смешная вы. Плюньте, и все тут.

— Не понимаешь ты, Варька, — ответила ей учительница.

— А мне наплевать! — Варька поднялась, пошла к двери. — Я на сцене-то онемею, как рыба, а может, зареву. Народ ведь от скуки в клуб ходит. Нешто я их веселить стану.

Когда Варька уходила, обернувшись в дверях. Учительница плакала, уронив голову.

Она не перестала учить Варьку, но больше уже не заговаривала с ней ни о таланте, ни о выступлениях в рыбацком клубе.

Зато бабка с тех пор обезумела словно. Она принялась копить деньги на это проклятое пианино. И хвастает на базаре.

— Вы, — говорит, — все тут село, селом и останетесь. Когда Варька моя артисткой станет, я к вам на самолете прилетать буду, чтобы смеяться.

ВАРЬКА РЕВЕТ БЕЗ СТЫДА

Когда Варька пришла домой, на крыльце ее встретили Пашка и Петька. Они посмотрели на нее с испугом.

— Тебя ж ведь не драли, чего ж ты ревела? — спросил Пашка. — У тебя все лицо полосатое. Иди холодной водой умойся.

Петька смотрел на нее и мигал.

— Я знаю, от кого ты плакала. Ты от себя плакала.

Пашка поливал ей из кружки. Петька держал мыло и полотенце. Губы у Варьки были горькими.

— Батька с бабушкой чуть не подрались, — сообщил Пашка. — В школе какой-то отчет, и деньги нужно выплатить завтра, иначе на батьку в суд подадут.

Отец гладил брюки. Встряхивал их, сбивал пальцем пылинки. На стуле висел его новый выходной костюм. На полу стояли новые сапоги.

— Продавать понесу, — сказал отец. Сказал не зло, с облегчением.

— Где жить станем? — спросила Варька.

— Перебьемся, — сказал отец, — Самоеды большие уже, в детский сад бегают. Я, Варька, на «Двадцатку» пойду.

— Там механик есть.

— Тогда на другой сейнер пойду. Сегодня капитан Илья флот пригонит, обязательно станет матросов и механиков брать.

Варька чувствовала в отцовских словах уверенность.

Бабка бегала по дому. Хваталась что-то делать. Выскакивала во двор. Лицо у нее двигалось, брови, и уши, и нос, и подбородок, и щеки зажили отдельно, толкались и спорили между собой.

Бабка посмотрела на Варьку с испуганным вздохом.

— Отдай! — крикнула Варька.

Бабка убежала на улицу, но вскоре вернулась спокойная.

— Брось, Петро, — сказала она. — Нешто я допущу, чтобы ты оборванцем ходил. Побудь тут. Принесу тебе деньги. В долг возьму. Отдадим помаленьку.

— Не нужно, — сказал отец. — Перебьемся.

— Мне лучше знать! — закричала старуха. — Ты, может, в одних исподних с Ксанкой по улице прогуливаться пойдешь? Хлопцы подросли, теперь тебя и оженить можно. — Бабка накинула на плечи толстый клетчатый платок. Подошла к зеркалу. — Варька, со мной пойдешь, — приказала она.

Бабка стала будто осанистей. Движения ее плавные и упругие. Голову она откинула назад.

— Пойдем.

Они прошли через весь город. Варька боялась спросить, к кому они направляются. Она не могла представить себе человека, который бы одолжил бабке денег. У нее не было друзей в городе. И когда бабка вошла в распахнутую настежь калитку, Варька остановилась. Пробормотала:

— Ты не сюда, бабушка... Ты что?

— Сюда, — сказала старуха и, приподняв плечи,

словно ей стало холодно вдруг, пошла к хате старика Власенко.

Варька остановилась у дверей — заробела. Ей не хотелось видеть, как высмеет бабку старик. Она побрела вокруг дома по дорожке из чистых ракушек. Ракушки эти добывают не в море. Их добывают в степи, в оврагах, в обнаженных пластах. Может, и неумолчна степь потому, что хранит она шум древних морских приборов. А ракушками посыпают вокруг хат, чтобы пресные дождевые брызги не пачкали белых стен.

И вдруг Варька сообразила, что здесь она может столкнуться лицом к лицу с Васькой. Она похолодела вся, прижалась спиной к хате.

— Я у нее не был.

— Почему? — услышала она разговор.

Голоса принадлежали Славке и его отцу. Варька стояла под окном. Ей было неловко, — вдруг выглянет Славкин отец. Посмотрит будто сквозь нее, не сразу соберет ее в зрении, потому что думает постоянно о чем-то своем. А когда поймет, что перед ним Варька, скажет:

— Здравствуй, девочка в брюках.

Варька отодвинулась от окна, стараясь, чтобы меньше хрустели ракушки. Ей захотелось уйти, убежать. Но она боялась двинуться с места, боялась, что встретит за углом Ваську.

В комнате за открытым окном молчали. Послышался треск, хрипение. Славкин отец настраивал приемник. Он ловил отголоски остывших гроз. Они врывались со свистом в комнату. И, наверно, Славкиному отцу они были сейчас нужнее самой прекрасной музыки. Он сказал:

— Ты, Славка, не пойми плохо. Я очень хотел зайти к маме. Но есть в людях нечто такое, что мешает им делать простые поступки. Бывают такие обстоятельства. Я говорил с нею по телефону.

— Она не хочет, чтобы ты помогал ей, и не приедет.

— Да, — ответил Славкин отец и, словно спохватившись, принялся оправдывать маму. Он говорил: — Когда мы злы, люди кажутся нам хуже, чем они на самом деле. На все нужно время...

Варька уловила в его словах недосказанность. Он не договаривал из боязни причинить Славке боль. Славка, наверно, тоже почувствовал это. Он сказал тихо:

— Мы на нее не в обиде... Нам ведь с тобой хорошо.

— Да... — ответил отец.

Варька пошла по хрустящим ракушкам. Села на скамейку у двери.

— А я дура дурой, — шептала она.

Дверь отворилась скрипнув. Старик Власенко пропустил мимо себя Варькину бабушку.

— Мы уже старые, Ольга.

На порог вышла бабка Мария, медленная и задумчивая, как течение лесной реки. Варька всегда робела перед этой старухой.

— У тебя ребятишки, — сказала бабка Мария. — Им наши дела ни к чему. Им жить нужно. В мою хату ступайте. Петро ее подлатает, руки у него ловкие.

Варька почувствовала, что не нужны сейчас бабке ее независимая осанка и гордость. Бабке нужно именно то, что сейчас происходит. Бабка хочет добра и прощения. Но по упрямой привычке бабкины плечи были откинута назад. Подбородок приподнят, но он дрожал.

— До свидания, — сказала она. — Дай вам бог...

Варька испугалась, что бабка обмякнет сейчас, что кончатся у нее силы. Она подошла, коснулась плечом бабкиной руки.

Только на другой улице бабка закачалась на ослабевших ногах. Голова упала на грудь. Плечи опустились, ссутулилась сухая спина, в поясице надломилась. Бабка почти упала на придорожную траву. Она вытащила из кармана деньги. Выронила на колени. Посмотрела на Варьку пустыми, как высохшие колодцы, глазами.

— Я в него из обреза стреляла, — прошептала она. — Когда он Серафину из степи привез. Насмерть хотела.

Варька сидела рядом с бабкой, кусала травину.

— Из обреза стреляла, — шептала она вслед за бабкой. Она видела мучительно близко перед глазами Васкин лоб, рассеченный камнем, и широкий, настежь растворенный взгляд.

Бабка бормотала:

— Я же чувствовала, как сила из меня уходит, будто кровь из раны течет. Я ж оправдаться перед собой хотела. Как оправдаться? Себя обвинять? Нет. Проще всех презирать. Только я, мол, одна человек.

Варька посмотрела на свои потертые, пропыленные вельветовые брюки. «Что ли, платье надеть?» — подумала она, покраснев.

Из бабкиных глаз текли слезы. Они оросили шершавые бабкины щеки. Пробрались на шею.

— Я, Варька, была... — бабка поймала слезу губами, растерла ее, соленую, на губах. Сказала, захлебнувшись поздним отчаянием: — Стерва я была, Варька. Раскричала я свою жизнь. Прогорланила, проплясала с кем хочешь. Я, Варька, и в Румынию уходила. И с гайдамаками...

Бабка подалась вперед,хватила Варькины руки и принялась целовать их, вымаливая прощение за грехи, которых Варька не знала и не желала знать.

Она понимала: бабка говорит правду, но запоздалая правда ранит людей хуже лжи. Варька взяла бабку за плечи, заставила встать. И вдруг побежала, словно боялась, что бабкины цепкие руки снова подомнут ее под себя.

Варька бежала домой. Со всех улиц ей навстречу бежали люди. Варька ловила обрывки радостных разговоров:

— Флотилия на подходе... Митинг будет.

— Никола, ты негрityнок видел?.. Не горюй, повидаешь.

— Смотри, сколько народу валит... Фло-ти-или-я!..

Булыжник на улицах белый, словно луженый. Тень от деревьев, как черная топь.

Варька прибежала домой — отца нет, наверно, сидит у соседки Ксанки, обсуждает свою дальнейшую долю. Он всегда ходит к ней, чтоб набраться характера. А может быть, побежал со всеми на берег. Пашка и Петька сладко дышали, прижавшись друг к другу лбами. Ветер гнет большие деревья, ломает даже, а эта трава дышит себе и толстеет. Варька закрыла их простыней, прижалась щекой к их крутым лбам. На них были тесные, насквозь постиранные рубахи. Наверно, у всех ребят одежда либо велика, либо тесна, потому что очень короткий срок, когда она бывает им впору.

Варька надела платье с цветочками, которое батька купил ей на день рождения. Вышла на улицу и побежа-

ла на берег, куда все бежали. Кто-то преградил ей дорогу. Варька ткнулась с разбегу в прохладный душистый шелк. Подняла голову. Ей улыбалась учительница Сима Борисовна.

— Варька, — сказала она, — я только что из Одессы. Я тебя поздравляю... Тебе нужно ехать в Одессу... Куда ты бежишь?

— Я ищу Василия. Я ему голову камнем пробила. — Варька отодвинулась от Симы Борисовны.

— Варька, тебе нужно в Одессу ехать! — крикнула Сима Борисовна. — В музыкальное училище. Я даже насчет интерната договорилась.

Ее слова глухо проникали в Варькино сознание.

«Зачем мне теперь пианино, — подумала Варька, — в училище, наверно, их сколько хочешь».

ЭПИЛОГ

Люди бежали на берег. Их становилось все больше и больше. Ступив на прибрежный песок, девушки снимали туфли с острыми каблуками.

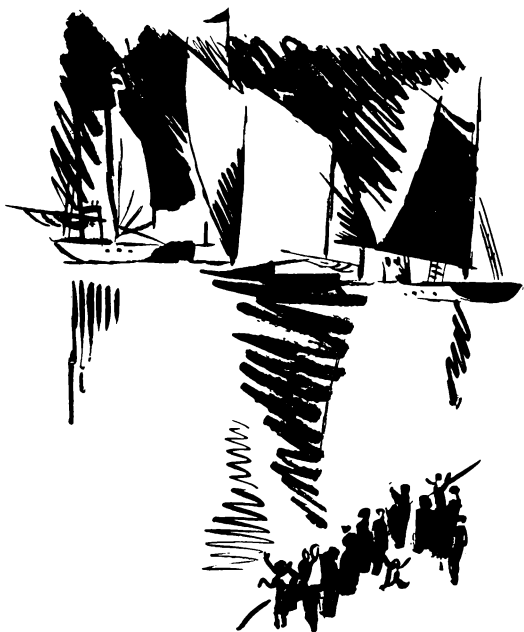
У самой воды, давя сухой камышовый плавник, ходили мальчишки. Они говорили: «Аф-фрика». В этом слове была вся их несчастная доля — ждать и взрослеть. Девчонки сидели на пирсе. И без конца повторяли: «Омары, ома-ры», — осязая у себя на ладонях теплый жемчуг и красные нити коралловых бус.

На лиман прибежал ветер. Принялся мастерить волны. Он толкал их к берегу одну за другой. Волны заливали мальчишки следы на песке, и они блестели оловянными слитками.

Из колхоза пришел грузовик, обтянутый кумачом. В кузове стояли председатель и старик Власенко — грудь в орденах.

Васька помахал старику рукой. Дед не заметил его. Он смотрел в море. Уже было известно, что он заступит капитаном на сейнер «Двадцатку», поскольку все молодые уйдут в африканские воды. Васька уселся на перевернутую лодку-каюк.

Рядом с ним кто-то сел осторожно. Васька обернулся — Варька. Веки у нее вздрагивают. Она все время



пытается сунуть руки в карманы, для безразличия. Но карманов нет — на Варьке шелковое с цветочками платье.

— Я в Одессу поеду, — сказала она.

Васька не ответил. Варька облизала губы.

— Я в Одессу поеду, — повторила она. — В музыкальную школу. Буду жить в интернате. А бабушка пускай тут со своей пианиной...

Васька спросил быстро:

— Мне напишешь письмо? — и уставился в землю. — Я тебе адрес дам.

Прибежал Славка.

Заорал:

— Ура! Флотилия!.. — Сел между Варькой и Васькой. Посмотрел на обоих по очереди и тихонько слез. Отошел к воде.

— Вы тоже хотите в Африку убежать? — услышал он вопрос.

Проворчал:

— А тебе что?

— А у нас все мальчишки хотят бежать. Сухарей насушили. — Голос был грустный и мудрый. Славка посмотрел. На песке сидела девчонка Нинка.

— Только все не поместятся, — вздохнула она.

По берегу у самой воды ходили мальчишки. Может быть, триста мальчишек. Может быть, больше.

— Ну и убегу, — сказал Славка. И подумал с обидой: «Ну и пускай они вместе сидят. Пускай обнимаются. Я один буду. Спрячусь на корабле, в самую глубину, и все».

Но Славка знает, что не залезет он на корабль, потому что для него сейчас эта затея пустая. Нет в рыбацкой флотилии Славкиного корабля. Но он придет, придет обязательно, нужно только знать его имя и не ожидать, открыв рот, а изо всех сил топать ему навстречу.

Флотилия двигалась от горизонта. Она была небольшая. Того, кто ожидал увидеть море, забитое парусами, постигло разочарование. Только на один миг. Рыбацкие новые корабли шли фронтом.

Корабли бросали свет на воду: красный, зеленый, желтый. Отражения огней тонули и поднимались со дна живыми гибкими стеблями. Море проросло невиданным лесом.



СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕНЬ-БРЕНЬ	3
Действие первое	4
Действие второе	52
ОЖИДАНИЕ	89
Васька	91
Славка	131
Варька	193

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте нам ваши отзывы о прочитанных вами книгах и пожелания об их содержании и оформлении.

Укажите свой точный адрес и возраст.

Пишите по адресу: Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Погоди Радий Петрович ТРЕНЬ-БРЕНЬ

Ответственный редактор *Г. В. Антонова.*

Художественный редактор *В. В. Куприянов.*

Технический редактор *Н. М. Сусленникова.*

Корректоры *Л. К. Маляво* и *К. Д. Немковская.*

Подписано к набору 1/VI 1966 г. Подписано к печати 4/VIII 1966 г. Формат 84×108¹/₂. Бум. № 1. Печ. л. 7,25. Усл. п. л. 12,18. Уч.-изд. л. 11,6. Тираж 150 000 (75 001—150 000) экз. ТП 1966 № 331. М-41088. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Заказ № 822. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Цена 48 коп.

